

Алая река

Автор:

Лиз Мур

Алая река

Лиз Мур

Бестселлер AmazonГлавный триллер года

Они – сестры. Они как два берега реки – очень разные и никогда не сойдутся. Но одной не жить без другой...

Кенсингтон, Филадельфия.

Первое место, куда приходят за наркотиками и сексом.

Последнее место, где вы захотели бы искать свою сестру, спасая ее от серийного убийцы...

БЕСТСЕЛЛЕР NEW YORK TIMES

БЕСТСЕЛЛЕР AMAZON #1

ВЫБОР КНИЖНОГО КЛУБА GOOD MORNING AMERICA

Самый мощный роман 2020 года по версии New York Times, Forbes, Washington Post, Vogue, Marie Claire, Entertainment Weekly, PopSugar, Bustle

Две сестры. Два мира. Две дороги. Одна судьба.

«Превосходный триллер. Созданный на фоне опиоидного кризиса в Филадельфии, это не просто остросюжетный роман – а умная мощная проза,

написанная автором, который глубочайше сопереживает своим героям. Совершенно выдающаяся книга. На последних страницах я буквально протестовала против того, что она заканчивается. Я по-настоящему влюбилась в этот роман».

Пола Хокинс

«Пульсирующий саспенсом, от которого захватывает дух, и безграничным состраданием, “Алая река” является одним из тех романов, что определяют развитие жанра в целом. Лиз Мур – это страшная сила, а ее книга возглавит список обязательного чтения для всех в 2020 году».

Forbes

«Это триллер, о котором в нынешнем году будут говорить все».

Bustle

«Этот роман обречен на то, что все любители жанра будут стараться приобрести его сразу же после выхода в свет».

The Washington Post

«Одна из самых громких книг 2020 года».

Marie Claire

«Выверенный баланс жесткости и глубокой сердечности – вот то, что поднимает “Алую реку” с уровня развлекательного пейзаж-тернера до книги, которая побуждает вас срочно позвонить любимому человеку».

The New York Times

«Смесь взрывного триллера и проникновенной семейной саги».

Time

«Мур мастерски выписывает отношения сестер – со времени их близости до мучительной агонии отношений, которые, казалось бы, невозможно оживить...»

Associated Press

«Роман “Алая река” вполне мог стать шаблонным чтивом. Но его автор разрушила все возможные стереотипы. Используя форму криминального романа, она создала глубокое и сложное литературное произведение, в котором герои и злодеи стоят рядом и даже часто меняются местами».

Oprah Magazine

Лиз Мур

Алая река

Посвящается М. А.Ч.

Что сказать о нынешнем Кенсингтоне – о протяженных авеню, о резиденциях, более похожих на дворцы, о живописных домиках? Что еще не известно нам про этот город в городе, прильнувший к груди безмятежной реки Делавэр? Здесь процветает деловая инициатива; здесь фабрики столь многочисленны, что дым из их труб застит небеса, а гулом механизмов полнится обширное пространство. В сей земле изобилия счастливый народ не ведает нужды. Отважные мужчины и благородные женщины произвели целое поколение стойких и упорных детей, что станут достойными преемниками своих родителей, когда те завершат земной путь. Да вольется свежая кровь в жилы Кенсингтона, а через них – и в жилы всей Филадельфии! Да будет украшен сим венцом наш славный Континент!

«Город в городе», анонимный автор, 1891 г.

Ни смут, ни разногласий – голосов —

и тех в Земле Блаженных не слышать.

Покоит остров сей морская гладь,
не наблюдают местные часов...

Нам, лотофагам, ведомо: не смерть
страшна. Куда страшнее – бытиё.

Жестока и жестка земная твердь,
слезьми да кровью не смягчишь ее.

Зачем же очи к небу подымать,
гневить пустыми просьбами богов,
когда уже от них получен в дар
сладчайший полусон, густой нектар
забвения?..

Мерцают пузырьки
с исподу спущенных, как шторы, век;
змеится морок пурпурной реки...

Останься с нами, здесь, бродяга-грек!
Вон, золотом расплавленным залит
песок. Полудня нет: всегда – закат.
К потоку снова обрати свой взгляд.
Неужто всё душа твоя блажит?
Неужто ярче яхонт иль агат,
чем этих вод уверенный распад?

Альфред Теннисон

Из поэмы «Лотофаги»

Список

Шон Гейген, Кимберли Гуммер; Кимберли Брюэр, ее мать и дядя; Бритт-Энн Коновер; Джереми Хаскилл; двое младших сыновей Ди Паолантонио; Чак Бирс; Морин Говард; Кайли Занелла; Крис Картер и Джон Маркс (с разницей в один день, оба – жертвы передозировки); Карло, не помню фамилии; парень Тейлор Боуз; годом позже – сама Тейлор Боуз; Пит Стоктон; внучка бывших соседей; Хайли Дрисколл; Шейна Питревски; Дони Джейкобс и его мать; Мелисса Джилл; Меган Морроу; Меган Гановер; Меган Чисхолм; Меган Грин; Хэнк Чамблисс; Тим и Пол Флорс; Робби Саймонс; Рикки Тодд; Брайан Олдрич; Майк Эшмен; Черил Сокол; Сандра Броуч; Кен и Крис Лоуэри; Лайза Моралес; Мэри Линч; Мэри Бриджес и ее племянница, с которой они были ровесницами и подругами; Джим; отец и дядя Мики Хьюз; два двоюродных деда, с которыми мы редко виделись. Наш бывший учитель мистер Полз. Сержант Дейвис из 23-го. Наша кузина Трейси. Наша кузина Шэннон. Наш отец. Наша мама.

Сейчас

– У нас труп, – сообщает диспетчер. – Герни-стрит, Трекс. Женщина неопределенного возраста. Предположительная причина смерти – передозировка.

Первая мысль: Кейси.

Она, эта мысль, засела во мне крепко. На каждое сообщение о мертвой женщине организм реагирует, как на укол, – содроганием. Затем – нехотя, словно исполнительный, но наскучивший службой солдат – вступает разум. Приводит статистику: за прошлый год в Кенсингтоне от передозировки умерли 900 человек. И Кейси среди них нет. Так какова вероятность, что сейчас речь идет о ней?

Далее, этот караульный, этот ответственный за мою адекватность, наваливается на меня с упреками – где твой профессионализм? Ну же, расправь плечи. Вот так. Теперь улыбочку! Сделай лицо попроще. Брови не хмурь. Подбородок не выдвигай. Занимайся чем положено.

Целый день катаюсь с этим новеньким, Лафферти, по вызовам. Натаскиваю его. В ответ на мой кивок Лафферти откашливается, вытирает рот. Ясно – нервничает.

– Двадцать шесть тринадцать, – произносит он.

Это номер нашей служебной машины. Надо же, запомнил.

– Сообщение анонимное, – продолжает диспетчер. – Поступило с телефона-автомата.

Да, они еще сохранились на Кенсингтон-авеню. Но, насколько мне известно, в рабочем состоянии только один.

Лафферти смотрит на меня, я – на него. Жестом ободряю: давай, задавай вопросы.

– Вас понял, – говорит он в свою рацию. – Конец связи.

Неправильно. Подношу к губам свою рацию. Голос звучит отчетливо:

– Сведения о дислокации?

* * *

Выслушав ответ диспетчера, инструктирую Лафферти: не стесняйся задавать вопросы, а то многие новички-полицейские насмотрелись детективных сериалов, слизнули эту манеру – говорить кратко, будто всё знают. А надо вытащить из диспетчера максимум подробностей.

Прежде чем успеваю закрыть рот, Лафферти обрывает:

– Вас понял.

Меряю его взглядом.

– Супер, Лафферти. Просто супер.

Мы всего час знакомы, а я его раскусила. Лафферти любит потрещать. Мне о нем уже известно куда больше, чем ему обо мне. У Лафферти – амбиции. И гонор. Сноб, короче, этот Лафферти; сноб и пижон.

Он из тех, кто боится, как бы его не назвали нищевродом, или слабаком, или тупым; до такой степени боится, что ни в жизнь не признается в наличии соответствующих проблем. Я, напротив, отдаю себе полный отчет в своей бедности. Особенно теперь, когда Саймон больше не шлет чеки. А как насчет слабостей? Пожалуй, и они наличествуют. Мое упрямство сродни ослиному – я, например, неизменно отказываюсь от помощи. Кроме того, я не из храбрых: едва ли заслону товарища от пули и даже на проезжую часть не выскочу в погоне за преступником.

Бедная? Да. Слабая? Да. Тупая? Нет, это не про меня.

* * *

Сегодня снова опоздала на планерку.

Стыдно признаться – это уже третий раз за месяц. Ненавижу опоздания. Минимум, который требуется от полицейского, – пунктуальность. Сержант Эйхерн поджидал меня в позе Наполеона.

– А, Фитцпатрик! Милости просим, милости просим... Сегодня вы с Лафферти. Машина номер двадцать шесть тринадцать.

– Кто это – Лафферти? – ляпнула я. Надо же было так опростоволоситься. Жебовски, который вечно сидит в уголке, сразу заржал.

– Лафферти – вот он, – произнес Эйхерн, указывая налево.

Тут-то я его и увидела. Эдди Лафферти, второй день на районе. Уставился в свой пустой блокнот. Когда назвали его имя, окинул меня быстрым оценивающим взглядом. Наклонился, будто заметил что-то неподобающее на собственных

ботинках – к слову, надраенных до зеркального блеска. Поджал губы. Тихонько присвистнул. В этот миг я его почти жалела.

А потом он расселся на пассажирском сиденье.

И вот они, факты об Эдди Лафферти, которые открылись мне за первый час знакомства. Ему сорок три года, старше меня на одиннадцать лет. В программу «Личностное и профессиональное развитие» вступил поздновато. До последнего времени работал в сфере строительства, затем прошел медобследование («Тогда спина замучила, – доверительно сообщает Эдди Лафферти. – Она и сейчас еще беспокоит. Чур – это между нами».) Только что закончил курсы. Был женат три раза, имеет троих почти взрослых детей. Имеет дом в горах Поконо. Тренируется с гантелями («Из фитнес-клуба не вылезая!»). Страдает дефицитом внутренней ротации плеча. И периодическими запорами. Вырос в Южной Филадельфии, сейчас живет в Мейфэре. Сезонный абонемент на «Филадельфийских орлов»[1 - «Филадельфия иглз», т. е. «Филадельфийские орлы» – название профессионального клуба по американскому футболу, выступающего в Национальной футбольной лиге. – Здесь и далее прим. пер.] делит с шестью приятелями. Его последней жене чуть за двадцать. («Наверное, в этом проблема и была. Девчонка она еще».) Играет в гольф. Взял из собачьего питомника двух питбулей-полукровок, их зовут Джимбо и Дженни. В старших классах играл в бейсбол. Кстати, в одной команде с нашим сержантом Кевином Эйхерном; он-то и предложил Эдди Лафферти поступить в полицию. (А, ну тогда понятно!)

А вот что Эдди Лафферти узнал обо мне: я люблю фисташковое мороженое.

* * *

Целое утро только и делаю, что пытаюсь закачать базовую информацию о районе в редкие паузы, которые возникают между тирадами Лафферти.

Кенсингтон, говорю я, это один из новейших районов в городе Филадельфия – очень старом, по американским меркам. Филадельфия, продолжаю я, была основана в тридцатых годах восемнадцатого века англичанином Энтони Палмером, купившим участок ничем не примечательной земли и назвавшим его в честь лондонского района, где как раз тогда появилась официальная резиденция британских монархов. (Наверное, Палмер тоже был снобом и

пижоном. Или оптимистом – так оно мягче звучит.) Продолжаем. Восточная часть нынешнего Кенсингтона располагается в одной миле от реки Делавэр, но в прежние времена она включала и саму реку. Соответственно, первыми в городе появились такие отрасли, как кораблестроение и рыболовство. Уже к середине девятнадцатого века начинается эра промышленного развития. Пик этой эры ознаменован процветанием сталелитейной, текстильной, а также фармацевтической промышленности. Однако век спустя фабрики стали закрываться целыми дюжинами. Стартовал упадок Кенсингтона – сначала темпы были низкие, затем все покатило в тартарары. Многие жители снялись с мест, перебрались кто в другие районы Филадельфии, а кто и за городскую черту; все искали другой работы. Некоторые остались – из верности или в иллюзорной надежде на перемены. Сегодняшний Кенсингтон населяют в равных долях потомки ирландцев, что приплыли сюда в девятнадцатом и двадцатом веке, и мигранты новой волны – пуэрториканцы и прочие латиносы; плюс несколько сравнительно малочисленных диаспор – этакая прослойка в демографическом пироге. Я говорю об афроамериканцах, выходцах из Восточной Азии и с Карибских островов.

Сегодня район скукожился и уместается между Франт-стрит, которая тянется к северу от восточной части Филадельфии, и Кенсингтон-авеню. Обычно ее называют просто Аве; кто-то вкладывает в это слово горькую иронию, кто-то – симпатию. Вытекает Аве из Франт-стрит и стремится на северо-восток. Железнодорожное полотно для электрички от Маркет-Фрэнкфорда – или, короче, для Эль (ибо разве может город с ником «Фили» оставить без аббревиатуры хоть что-нибудь значимое?) – проходит над Франт-стрит и Кенсингтон-авеню. Следовательно, обе улицы затенены бо́льшую часть дня. Поддерживают железнодорожное полотно стальные опоры голубого цвета – этакie ноги. Расстояние между ними составляет двадцать футов, так что издали вся конструкция кажется гигантской многоножкой, нависшей над районом. Подавляющее большинство сделок – а продаются здесь только наркотики и сексуальные услуги – заключается на основных районных «артериях», а продолжение имеет в переулках и тупиках (чаще – в заброшенных домах и на пустырях). Этим последним здесь полно – почти каждая улица упирается в пустырь. Главная улица пестрит вывесками: «Ногтевой сервис», «Закусочная», «Салон сотовой связи», «Супермаркет», «Фикс-прайс: любой товар за 1 доллар». Имеются ломбарды, бесплатные столовые и другая благотворительность, а еще бары. Около трети фасадов заколочена.

И все-таки район развивается. Взять хотя бы стройку слева от нас – здесь будет кондоминиум. Место долго пустовало – с тех самых пор, как снесли фабрику.

Ближе к границам Кенсингтона открывают бары и офисы; например, их уже немало в Фиштауне, где прошло мое детство. Население молодеет. Новые жители – честные, наивные, при деньгах. Идеальная добыча. Вот мэр и озабочен. Вот и талдычит: нужно больше патрульных полицейских. Больше, больше, больше.

* * *

Сегодня льет как из ведра. Веду машину медленнее обыкновенного. В другое время я бы вихрем мчалась на вызов. По пути успеваю называть магазины и салоны, сообщать Лафферти имена владельцев и арендаторов. Рассказываю о недавних преступлениях, если считаю, что напарник должен о них знать (каждый раз он реагирует присвистом, трясет головой). Перечисляю тех, кто готов к сотрудничеству с полицией. За окном полицейского фургона – обычная картина. Группка наркоманов – одни жаждут ширнуться, другие уже ширнулись. Половина тех, что околачиваются на тротуаре, прислонились к стенам. Потому что едва на ногах держатся. Таких называют кенсингтонскими фасадными подпорками[2 - Обыгрывается слово «lean». На сленге наркоманов оно означает напиток – дешевый заменитель тяжелых наркотиков, который готовят из смеси сиропа от кашля с кодеином, газировки «Спрайт» и других составляющих. Прямое значение слова «lean» – подпирать, поддерживать, клониться, прислоняться.]. Но говорят так персонажи, способные шутить над чужой бедой. Я не из их числа.

Женщины сегодня в основном под зонтами. На них зимние шапки и куртки-дутыши, джинсы, грязные кеды. Большинство женщин без макияжа, разве только веки густо подведены черным карандашом. Ни одна деталь одежды этих женщин не говорит прямо о том, что они «работают на Аве», но понять это нетрудно. Каждого мужчину, будь он за рулем или пеший, женщины встречают долгими, пристальными взглядами. Почти всех этих женщин я знаю, а они знают меня.

– Это Джейми, – говорю я Лафферти. – Это Аманда. Это Роза.

Мне представляется, что по долгу службы и он тоже должен знать их имена.

Минуем квартал. На перекрестке Кенсингтон-авеню с Кэмбрия-стрит замечаю Полу Мулрони. Она сегодня на костылях; одна нога жалко, бессильно болтается.

Пола мокнет под дождем – еще и зонт, заодно с костылями, ей не удержать. Джинсовая куртка совсем потемнела от воды. Шла бы Пола лучше куда-нибудь под крышу...

Ищу глазами Кейси. Обычно она здесь работает, это их с Полой угол. Порой они дерутся или дуются друг на друга, а то одна из них перебирается в другое место – а через неделю, глядишь, они снова вместе. Помирились, в обнимку сидят; у Кейси папироса к губе прилипла, Пола держит бумажный стакан с водой, или соком, или пивом.

Сегодня Кейси нигде не видно. У меня слегка сосет под ложечкой.

Пола замечает знакомую машину, щурится, чтобы разглядеть, кто внутри. Поднимаю над рулем два пальца – дескать, привет. Пола переводит глаза с меня на Лафферти, вздергивает подбородок.

– А это Пола, – говорю я.

Прикидываю, надо ли что-нибудь добавить. Например, что мы с ней учились в одной школе. Что были в хороших отношениях. Что она – подруга моей сестры.

Впрочем, Лафферти уже перескочил на новую тему. На сей раз он повествует об изжоге, терзающей его по целым месяцам.

– Слушай, а ты всегда такая молчунья? – внезапно спрашивает Лафферти. Это первый вопрос, который он задал мне после откровения о фисташковом мороженом.

– Нет. Я просто устала.

– В смысле, до меня у тебя была прорва партнеров? – уточняет Лафферти и регочет, будто над удачной шуткой. Правда, быстро спохватывается. – Извини. Вопрос был некорректный.

Я молчу. Долго. Достаточно долго. Наконец выдавливаю:

– Нет. Один.

– А сколько вы работали вместе?

– Десять лет.

– И что с ним стряслось?

– Весной колено повредил. Он на больничном.

– Как его угораздило?

Не уверена, что Лафферти следует об этом знать. Но все же отвечаю:

– При исполнении.

Подробности Трумен сам выдаст – если сочтет нужным.

– Ты замужем? Дети есть? – продолжает Лафферти.

Лучше б о себе трындел.

– У меня сын. Мужа нет.

– Сын? Здорово! А сколько ему?

– Четыре года. Уже почти пять.

– Классный возраст. Помню, мои в этом возрасте были такие занятные...

* * *

Выруливаю к въезду в Трекс. Перед нами – забор с дырой. Этой дыре уже лет надцать; кто-то сшиб доску, а починить руки у властей так и не дошли. Здесь у нас будка неотложной помощи.

Ловлю себя на сочувствии Эдди Лафферти. Сейчас он увидит мертвое тело – а практику-то проходил в Двадцать третьем районе. Двадцать третий – рядом с нашим, но уровень преступности там в разы ниже. Вдобавок Лафферти главным образом патрулировал улицы на своих двоих да сдерживал толпу на митингах. Сомневаюсь, что ему приходилось выезжать по звонку диспетчера «У нас труп». Хватает способов спросить, много ли человек видел мертвецов на своем веку; но я, поразмыслив, решаю обойтись без ключевого слова.

– Ты уже этим занимался?

Лафферти мотает головой:

– Не.

– Тогда приступим, – говорю я с натужным оптимизмом.

Не знаю, что добавить. На самом деле к такому не подготовишь.

* * *

Тринадцать лет назад, когда я начинала, выезды к трупам случались всего несколько раз в году. Поступала информация, что некто вколол себе фатальную дозу, что пролежал после этого слишком долго и медицинское вмешательство уже не имеет смысла. Чаще, правда, звонили в тот момент, когда человека еще можно было спасти. Да, тринадцать лет назад такое часто случалось.

Но лишь за текущий год в Филадельфии обнаружены 1200 трупов, причем подавляющее большинство – в нашем районе. Почти у всех причина смерти – передозировка. Некоторые трупы были неумело спрятаны приятелями или любовниками, видевшими смерть, но не желавшими связываться с полицией, отвечать на вопросы «как» да «почему». Но чаще трупы обнаруживаются прямо на улице или на пустыре. Иногда их находят взрослые родственники. Иногда – дети жертв. Иногда и мы, полицейские. Патрулируя район, замечаем расprostертое на виду (или, наоборот, заваленное хламом) тело, щупаем пульс – а его нет. Рука у любого трупа ледяная. Даже летом.

* * *

Через пролом в заборе мы с Лафферти попадаем в овражек. Десятки, если не сотни раз я проделывала этот путь. Овражек, заросший бурьяном, находится на моем участке. И всегда, всегда в этом бурьяне либо мертвое тело, либо вещдоки. Когда я работала в паре с Труменом, именно он шел первым. Потому что Трумен старше – по возрасту и по званию. Но сегодня первой иду я; подергиваю головой по-утиному, словно это поможет меньше промокнуть под дождем. Который, к слову, и не думает стихать. Так долбит по фуражке, что я собственный голос едва слышу. Ботинки отсырели, скользят в грязи.

Виадук Лехай, который сейчас больше на слуху как Трекс, представляет собой участок земли, знававший лучшие времена. Таких участков в Филадельфии немало. Когда-то, в период индустриального расцвета Кенсингтона, по виадуку сновали товарные поезда; сейчас здесь буйствует бурьян. Под сорняками и опавшей листвой почти не видны шприцы и пакеты; молодая древесная поросль является прикрытием для тех, кто занят грязными делами. И городская общественность, и Корпорация объединенных железных дорог давно предлагают заасфальтировать весь участок – но им никто не внимлет. Я по этому вопросу настроена скептически. Не представляю, хоть убей, что Трекс может измениться. По-моему, он всегда будет местом, где колются наркоманы и где женщины обслуживают своих клиентов. Допустим, всю территорию действительно покроют асфальтом; но тогда места того же назначения возникнут в других кенсингтонских кварталах. Такое уже случалось, и я – тому свидетель.

Слева слышится шорох. Оборачиваюсь. Из зарослей материализуется некто мужского пола. Стоит неподвижно, свесив руки, не отирая с лица дождевой воды. Впрочем, может, это не вода, а слезы.

– Сэр, – говорю я, – не видели ли вы что-нибудь, о чем надо сообщить полиции?

Он молчит. Таращится на меня. Облизывает губы. Взгляд нездешний, как у всякого, кому срочно нужна доза. Глаза неестественного ярко-синего оттенка. Может, он ждет наркодилера или приятеля – того, кто поможет ему «поправиться». Наконец мужчина медленно качает головой.

– Вам не следует здесь находиться, сэр, – продолжаю я.

Знаю: другие полицейские так не миндальничают. Считают, это пустая трата времени – гнать таких вот с места преступления. Мол, подобный персонаж тупо выждет, пока копы скроются из виду, и снова тут как тут. Согласна; и все равно я всегда предлагаю человеку уйти по-тихому.

– Извините, – произносит мужчина. Впрочем, ясно: в ближайшее время он не уйдет. А мне с ним рассусоливать некогда.

Продолжаем путь через лужи. Диспетчер сообщил, что мертвое тело находится в ста ярдах от пролома в заборе, по правую сторону, за поваленным стволом. Информатор оставил на стволе газету, чтобы нам было легче найти труп. Ее-то мы и высматриваем, все больше удаляясь от забора.

Первым поваленный ствол видит Лафферти. Делает шаг с дорожки – которая, собственно, никакая не дорожка, а просто тропа, протоптанная за многие годы. Следую за Лафферти. Мучаюсь вопросом, знакомая или незнакомая окажется эта женщина. Может, я ее задерживала или просто видела во время патрулирования, изо дня в день, из ночи в ночь. И прежде чем успеваю «поставить блокировку», в висках начинает стучать: «Или это Кейси. Кейси. Кейси».

Лафферти, опередивший меня на десять шагов, заглядывает за ствол. Молчит, только наклоняется все ниже и шею вывернул как-то странно.

Подскакиваю к стволу, тоже наклоняюсь.

Первая мысль: слава богу, это не Кейси.

Незнакомка. Смерть наступила недавно. Под дождем женщина мокнет недолго. Но уже окоченела. Лежит на спине, неловко изогнув руку. Рука стала похожа на птичью лапу. Лицо искажено, черты заострились. Глаза распахнуты. У скончавшихся от передозировки глаза обычно закрыты. Для меня это некое утешение; по крайней мере, думаю я, бедняга умер легко. Но эта женщина выглядит потрясенной, не верящей, что ее настигла смерть. Снизу – толстый слой листвы. Тело вытянуто, напряжено, как у солдатики; вот только скрюченная правая рука нарушает впечатление. Возраст женщины – чуть за двадцать. Волосы она собрала в тугий хвост; сейчас хвост растрепан. Пряди выбились из-под резинки – явно не сами. На женщине майка и джинсовая юбка. Это в

середине-то октября! Дождь поливает голые плечи, голые ноги, искаженное лицо. Смывает улики. Подавляю порыв укрыть, укутать несчастную. Где ее куртка? Возможно, женщину раздели, когда она уже была мертва.

Рядом – вполне предсказуемо – валяются шприц и самодельный жгут. Она в одиночестве умерла? Такие редко умирают в одиночестве. Обычно при них находится любовник или клиент; он сбегает, чтобы не связываться с полицией, чтобы не попасть под подозрение.

По инструкции мы обязаны проверить: может, она еще жива...

У меня сомнений нет; если б не стажер Лафферти, проверять я не стала бы. Но Лафферти смотрит, и деваться мне под его взглядом некуда. Перешагиваю ствол, собираюсь пощупать пульс – но тут слышатся шаги и голоса.

– Твою мать! – повторяет неизвестный. – Твою мать! Твою мать!

Дождь усиливается.

Это подросли медики. Два парня. Идут – не торопятся. Знают: спасти некого. Для сегодняшней найденной все кончено. Ясно и без патологоанатома.

– Свежак? – уточняет один из парней.

Киваю. От слова «свежак» меня коробит. Подумать, как гадко мы порой говорим о мертвых.

Парни подходят к стволу. Без пиетета, с каким следует встречать смерть, косятся на женщину.

– Офигеть, – тянет один, по фамилии Сааб (она у него на бейдже).

Второго зовут Джексон.

– По крайней мере, нести ее не надорвемся – вон какая тощая, – констатирует Джексон.

Фраза для меня – как удар под дых.

Сааб и Джексон перелезают через ствол, опускаются на колени рядом с телом.

Джексон пытается нащупать пульс – на запястье, на шее. После нескольких бесплодных попыток бросает взгляд на часы.

– Неопознанная мертвая женщина, время обнаружения одиннадцать часов двадцать одна минута.

– Запиши, – велю я Лафферти.

Вот и видимая польза от напарника – не надо самой вести записи. Лафферти держал блокнот за пазухой, чтобы тот не промок. Теперь он достал блокнот и навис над ним, стараясь собственным телом защитить от дождя.

– Погоди секунду, – говорю я.

Эдди Лафферти переводит взгляд с меня на мертвое тело.

Опускаюсь на колени между Саабом и Джексонем. Нечто в лице жертвы кажется подозрительным. Глаза у нее уже затуманились, подернулись мутной пеленой; челюсти стиснуты. А под бровями и на скулах проступила россыпь пунцовых точек. Издали они производили впечатление румянца, но вблизи отчетливо видно: это результат кровоизлияний. Лицо женщины будто истыкано красной шариковой ручкой.

Сааб и Джексон тоже склоняются над мертвой.

– Ни фиги себе, – бормочет Сааб.

– Что такое? – спрашивает Лафферти.

Подношу рацию к губам, говорю:

– Высокая вероятность насильственной смерти.

– Откуда видно? – спрашивает Лафферти.

Джексон и Сааб не удостоивают его ответом. Они всё еще изучают тело.

Оборачиваюсь к напарнику. Должна же я его обучать.

– У нее петехии, – поясняю я, указывая на пунцовые точки.

– А это что?

– Лопнувшие сосудики. Один из признаков удушения.

Вскоре на место преступления приезжает сержант Эйхерн.

Тогда

Впервые я осознала, что у сестры серьезные проблемы, когда ей было шестнадцать. Стояло лето 2002 года. Двумя сутками ранее, в пятницу днем, Кейси ушла из школы вместе с подругами. Мне сказала, что к вечеру вернется.

Но не вернулась.

Уже в субботу я металась по дому, названивала приятелям Кейси, расспрашивала, где бы она могла быть. Мне не отвечали. Сами не знали; а точнее, просто не хотели говорить. Мне стукнуло семнадцать, я была болезненно застенчива, при этом уже взвалила на себя роль всей своей жизни. Роль Ответственной Сестры. Бабушка называла меня маленькой старушкой. Говорила, такая серьезность мне же самой во вред. В глазах приятелей Кейси я была не лучше надоедливой мамы, которой «своих не сдают». Один за другим они бубнили: «А я почему знаю?»

В те дни сладу с Кейси уже не было. И все-таки, дерзкая и шумная, она одним своим присутствием делала жизнь сносной. Помню ее необычный смех. Кейси смеялась беззвучно, разинутый рот дрожал; то и дело производила серию резких вдохов – с подвыванием и эхом – и сгибалась пополам, словно от боли. Эхо было показателем наличия сестры в доме; тишина, по контрасту, казалась особенно

зловещей. Мне не хватало грохота музыкальных записей и этого ее кошмарного парфюма – резкий, приторный, он, видимо, призван был маскировать запах «травки», которой баловались Кейси и ее приятели. Назывался парфюм «Пачули муск».

Все выходные я уговаривала бабушку позвонить в полицию. Ба всегда была против того, чтобы «впутывать чужих». Наверное, боялась, что «органы» сочтут ее не подходящей для нас опекуной.

Когда наконец Ба согласилась, ей лишь со второй попытки удалось набрать номер на оливково-зеленом дисковом телефонном аппарате – настолько тряслись руки. Никогда прежде я не видела Ба ни такой встревоженной, ни такой взбешенной. После звонка ее еще долго колотило – то ли от ярости, то ли от страха, то ли от стыда. Длинное лицо с багровыми скулами искажали новые, незнакомые гримасы. Она бубнила что-то про себя – проклятия, а может, молитвы.

* * *

Исчезновение Кейси было одновременно и неожиданным, и предсказуемым. Моя сестра всегда отличалась общительностью. Периодически связывалась со всяким сбродом – благодушными бездельниками, далеко не изгоями, но и не теми, кого принимают всерьез. В девятом классе ненадолго попала под влияние хиппи; затем несколько лет одевалась как панк, красила волосы в самые экстремальные цвета, носила кольцо в носу и даже сделала татуировку – леди-паук в паутине. И сменила нескольких парней. Я, в свои семнадцать, никогда с парнем не встречалась. Кейси была популярна, но использовала свою популярность во благо. Например, подростком взяла шефство над девочкой по имени Джина Брикхаус. Эту Джину травили из-за лишнего веса, зловонного дыхания, скверных зубов, нищеты родителей – наконец, из-за иронии, что была заложена в самом ее имени[3 - Брикхаус (англ. brickhouse) – на сленге означает «девушка с шикарной фигурой»]. Короче, к одиннадцати годам Джина Брикхаус отказалась разговаривать. Но под крылом у Кейси она буквально расцвела. В выпускном классе ее называли уже Уникумом – такое прозвище дают фрикам-бунтарям, которые внушают уважение.

Но потом социальная жизнь моей сестры сделала крутой вираж. Кейси стала регулярно влипать в истории, над ней постоянно висела угроза исключения из

школы. Она пила алкогольные напитки, причем даже в школе; она употребляла лекарственные препараты наркотического действия – те, об опасности которых тогда никто не подозревал. В тот же период у Кейси появились секреты от меня. Еще за год до этих событий Кейси обо всем мне рассказывала – часто с извиняющимися и даже молящими интонациями, будто жаждала отпущения грехов. Эта ее новая практика – таиться – успеха не имела. Чутье мое сестре было не обмануть. Я вычисляла ее проступки по манере держаться, по внешним признакам, по взгляду. Мы с Кейси жили в одной комнате, спали в одной постели с самого раннего детства. Был период абсолютного взаимопонимания, когда я угадывала реплику Кейси прежде, чем сама Кейси открывала рот; и точно так же Кейси угадывала мои реплики. Мы выработали особый стиль общения – обрывали фразы, доканчивали высказывания мимикой и жестами. Посторонние нашего особого языка не понимали. Ну и вот, Кейси стала все чаще ночевать у подруг. Или являлась домой под утро, и пахло от нее странно. Я эти запахи не могла идентифицировать. Беспокоилась ли я за Кейси? «Беспокоилась» – слово слишком слабое.

Когда Кейси исчезла на двое суток, потрясло меня не исчезновение как таковое и даже не мысли об ужасных вещах, которые могли произойти с сестрой. Потрясло меня осознание: я полностью вычеркнута из жизни Кейси. Вычеркнута ею самой. Кейси способна скрывать свои самые страшные тайны ВОТ ТАК, причем ДАЖЕ ОТ МЕНЯ.

* * *

Вскоре после того, как Ба обратилась в полицию, мне на пейджер пришло сообщение от Пола Мулрони. Я сейчас же перезвонила ей. В старших классах Пола была лучшей подругой Кейси, и она единственная считалась со мной. Единственная понимала и уважала наши особенные сестринские отношения. По телефону она сообщила, что слышала о Кейси и, кажется, знает, где ее искать.

– Ты только бабке своей не говори, – добавила Пола. – А то я ведь и ошибаться могу.

Она была миловидна, высока ростом и крепко сбитая. Такими мне представлялись мифические амазонки. Впервые я прочла о них в «Энеиде», в девятом классе; а в пятнадцать лет обнаружила амазонок в комиксах. Впрочем, когда я сказала Кейси, что Пола похожа на амазонку – думала польстить Поле, – сестра только

скривилась («Мик! Не вздумай никому даже намекать на это!»). Впрочем, хоть Пола мне всегда нравилась (и до сих пор нравится), я уже тогда понимала: она плохо влияет на Кейси. Брат Пола, Фрэн, сбывал наркотики. Пола ему помогала, и все об этом знали.

В тот день мы с ней встретились на углу Кенсингтон-авеню и Аллегейни.

– Иди за мной, – скомандовала Пола.

По дороге она сообщила, что два дня назад они с Кейси зависли в одном доме, у Фрэнова приятеля. Что это значит, я мигом смекнула.

– Мне пришлось свалить, – сказала она. – А Кейси захотела остаться.

Пола Мулрони вела меня на север по Кенсингтон-авеню. Скоро мы свернули в переулок – сейчас не вспомню, как он назывался, – и остановились возле обшарпанного дома без архитектурных подробностей, одного из многих в квартале ленточной застройки. Застекленная дверь была выкрашена белой краской и имела металлическое украшение – лошадь с повозкой, причем передние ноги у лошади были отломаны. Мы добрых пять минут ждали, пока откроют, и я успела все рассмотреть.

– Они точно дома, – повторяла Пола, колотя в дверь. – Они всегда дома.

Наконец нам отворили. На пороге стояла женщина, больше похожая на привидение. Таких тощих я никогда не видела. Волосы у нее были черные, щеки – багровые, веки – набрякшие. Позднее и у Кейси веки такими стали, а тогда я не знала, отчего это.

– Фрэна здесь нету, – выдала женщина. Говорила она о брате Пола. Вероятно, была старше нас всего лет на десять; впрочем, ее возраст не поддавался определению.

– А это еще кто? – спросила женщина, указывая на меня. Она задала вопрос прежде, чем Пола отреагировала на сообщение об отсутствии Фрэна.

– Это моя подруга. Она сестру ищет.

– И сестер тут никаких нету тоже, – отрезала женщина.

Пола поспешила сменить тему:

– Мне нужен Джим.

* * *

Филадельфийский июль – это всегда адское пекло. В доме все плавилось, и неудивительно – крыша-то была плоская, крытая толем. Вдобавок дом провонял сигаретами и чем-то тошнотворно-сладким. Чем именно, я тогда не знала. При мысли, для кого этот дом изначально построили, сделалось тоскливо. Уж конечно, здесь жила дружная, работающая семья. Скорее всего, рабочий с женой и детьми. По утрам он спешил на огромную фабрику – одну из тех, что и доныне торчат, заброшенные, по всему Кенсингтону, – а вечером возвращался к семье и читал молитву перед тем, как приняться за ужин. Мы с Полой как раз и попали в бывшую столовую. Мебель отсутствовала, только к стенам было прислонено несколько складных железных стульев. Из уважения к рабочему и его семье я пыталась представить ту, прежнюю обстановку. Наверное, поколение назад посередине помещался овальный стол с кружевной скатертью, на полу – ковер из плюша. Стулья, конечно, были мягкие, удобные; почти кресла, только без подлокотников. И обязательные занавески, сшитые доброй бабушкой. И натюрморт на стене – какая-нибудь ваза с фруктами...

Появился Джим – наверное, хозяин дома. В черной футболке и в джинсовых шортах. Уставился на нас. Руки бессильно свисали вдоль тела.

– Ты, что ли, Кейси ищешь? – процедил Джим.

Я подумала: откуда он знает? Может, моя внешность выдает отсутствие опыта? Может, я выгляжу как опекунша, вечная спасительница; та, что не сбежит, пока все закоулки не обшарит? У меня всю жизнь такой вид. Когда я поступила работать в полицию, мне пришлось немало потрудиться над осанкой и выражением лица, а то арестованные меня всерьез не воспринимали.

Я кивнула.

– На второй этаж иди, – бросил Джим.

Кажется, он говорил что-то вроде «ей хреново, вот она и лежит». Не помню. Я не слушала. Я метнулась вверх по лестнице.

В коридор выходило несколько дверей, но все они были закрыты. Я не сомневалась: за каждой дверью таятся всякие ужасы. Признаюсь: мне было очень страшно. Некоторое время я стояла без движения. Потом жалела об этом.

– Кейси, – тихонько позвала я, надеясь, что вот сейчас моя сестра просто возникнет в коридоре. – Кейси!

Дверь приоткрылась. Высунулся кто-то неизвестный – и мгновенно исчез.

Было темно. Снизу слышались голоса Пола и этого Джима. Говорили о Фрэне, о соседях, о копах, которые в последнее время толпами ходят по Аве, так их и так.

Собрав все свое мужество, я постучалась в ближайшую дверь, выждала несколько секунд и повернула ручку.

Там, в той комнате, я нашла Кейси. Я узнала ее по кислотно-розовым, свежевыкрашенным волосам, разметавшимся по матрацу. Ни простыни, ни подушки не было. Кейси лежала ко мне спиной, на боку, неудобно, неестественно вывернув шею.

Она была практически голая.

Глядя на сестру с порога, я не сомневалась: она мертва. Пусть она лежала в той же позе, в какой я привыкла видеть ее спящей, – тело Кейси не расслабилось, нет. Тело обмякло. У живых так не бывает. Вдобавок руки и ноги казались набухшими, неподъемными.

Я подошла к ней. Перевернула ее на спину. Левая рука свесилась с кровати, упала бессильно, безжизненно, все еще перетянутая, словно мусорный мешок, трикотажной тряпкой – видимо, лоскутом от футболки. Ниже самодельного жгута, теперь ослабленного, змеилась набухшая мороком пурпурная вена. Лицо было изможденное и безразличное, кожа с просинью, рот разинут, глаза

закрыты, но не плотно – меж верхних и нижних век белели из-под ресниц щелки-полумесяцы.

Я трясла сестру. Звала ее по имени. Потом спохватилась – сорвала жгут. На матрасе обнаружила шприц. Снова закричала: «Кейси! Кейси!» Пахло от нее экскрементами. Я надавала ей оплеух. Прежде я не видела ни героина, ни героинистов.

Помню, как я вопила на лестнице:

– Позвоните «девять-один-один», скорее!

Конечно, зря. В доме вроде этого службу спасения ни в жисть не вызовут. Однако я продолжала вопить, пока не примчалась Пола и не закрыла мне рот ладонью.

– Ни хрена себе! – протянула она, взглянув на Кейси.

До сих пор восхищаюсь находчивостью Пола, ее хладнокровием, быстротой и точностью ее движений. Она подсунула руку Кейси под коленки, другой рукой подхватила ее под мышки и потащила с кровати. Моя сестра в то время была толстушкой, но Пола довольно легко снесла ее по лестнице вниз. Спускалась она боком, спиной к стене, глядя под ноги. Я бежала следом. Наконец мы вышли на крыльцо.

– Не вздумайте звонить, пока в другой квартал не уберетесь, – предупредила тощая женщина, открыв нам дверь.

«Она умерла, – вертелось в моей голове. – Она умерла. Моя сестра умерла». Перед глазами все стояло лицо Кейси на этой загвазданной чужой койке. Ни я, ни Пола не проверили, дышит ли она, однако я не сомневалась: сестры у меня больше нет. Понеслись мысли о будущем, о целой жизни без Кейси. Моя свадьба. Рождение моих детей. Смерть бабушки. От жалости к себе я заплакала. Я потеряла единственного человека, способного взять на себя часть бремени, которое обрушил на нас сам факт нашего рождения. Теперь не с кем делить тоску по умершей маме и сгинувшему отцу. Некому плакаться из-за бабушки – редчайшими проявлениями ее доброты мы упивались, ведь бо?льшую часть времени Ба была с нами жестка. Да еще бремя нашей бедности... Из-за слез я не

видела, куда иду. Споткнулась о кусок асфальта, вздыбленный древесным корнем.

* * *

И пары секунд не прошло, как нас засек молодой полицейский – один из тех, кого кляли Джим с Полой. Еще через несколько минут появилась «Скорая» и увезла меня и Кейси. При мне ей ввели «Наркан»[4 - «Наркан» – медицинский препарат, применяется для вывода больных из общей операционной анестезии и наркотической комы, а также для облегчения состояния при отравлении этанолом.], и она чудесным образом восстала из мертвых – начала вопить от боли, жаловаться на тошноту и на жизнь в целом, ныть: «Кто вас просил?!»

В тот день мне открылась тайна: никто из них не хочет, чтобы его спасали. Все они жаждут уйти. Не просыпаясь, быть поглощенными землей. На лицах возвращенных с того света – ненависть. За годы работы в полиции, стоя возле какого-нибудь несчастного медика, чья задача – воскрешать из мертвых, я десятки раз видела это общее для всех наркоманов выражение. Ненависть была в лице Кейси, когда ее глаза открылись, когда она начала сыпать проклятиями, а затем всхлипывать. Ненависть ко мне – родной сестре.

Сейчас

Нам с Лафферти было велено уезжать. Потому что на сцене появился сержант Эйхерн. Он прикроет мертвое тело, он встретит судмедэксперта и следователей из Восточного отдела по тяжким и особо тяжким.

Лафферти наконец-то заткнулся. Расслабляюсь под шорох «дворников» и еле слышное стрекотание рации. Чуть погодя спрашиваю Лафферти:

– Ты в порядке?

Он кивает.

– Вопросы есть?

Он отрицательно качает головой.

Снова умолкаем.

Есть две разновидности молчания. Конкретно это – неловкое, напряженное. Молчание чужих людей, что-то друг другу недоговаривающих. Вспоминается Трумен – вот с ним молчать было комфортно. Он даже дышал по-особенному – ритмично, успокаивая меня самым этим размеренным ритмом.

Проходит пять минут. Наконец Лафферти подает голос:

– Здесь бывало и получше.

– В смысле?

Он поводит руками по сторонам:

– Я говорю, райончик-то лучшие времена помнит. Мальчишкой я сюда ходил в бейсбол играть... Ничего, вполне сносно было.

Морщит лоб.

– Здесь и сейчас не фатально, Эдди. В Кенсингтоне есть кварталы благополучные, есть не очень. Только и всего. Район как район.

Лафферти пожимает плечами. Я его не убедила. Он и года в полиции не прослужил, а уже недоволен. Не он один, кстати. Есть полицейские, которые только и знают, что хаять свои участки. Чем дольше служат, тем активнее хают. Сама слышала. В числе таких, к сожалению, и сержант Эйхерн. О Кенсингтоне эти люди говорят в выражениях, не приемлемых для того, чья обязанность – защищать общество и способствовать росту гражданской ответственности. На планерках сержант Эйхерн называет Кенсингтон и помойной ямой, и отстойником, и Дерьмовиллем.

– Не знаю, как тебе, Эдди, а мне просто необходимо выпить кофе, – говорю я.

* * *

Обычно я беру кофе на углу, в забегаловке из тех, где коптят спиртовые горелки, воняет кошками, а по стенам размазаны желтки из сэндвичей с яичницей. Хозяина заведения, Алонзо, я числю в друзьях. Но сегодня мы туда не пойдем. На волне расцвета малого бизнеса появилось новое кафе – «Бомбический кофе»; туда-то я и направляюсь. Пусть Лафферти не думает, что наш район – отстойник и тэ пэ.

Есть что-то особенное в новых кенсингтонских кофейнях, в том числе в этой; что-то сразу цепляющее взгляд. Может, дело в интерьерах, в контрасте прохладной стали и теплой древесины; может, в посетителях – их, судя по внешнему виду, занесло с другой планеты. Остается только догадываться, о чем они думают, говорят, строчат в ноутбуках. Полагаю, их темы – книги, одежда, музыка и комнатные растения. Они кидают клич в Сети: «Помогите выбрать кличку для щенка!» Они заказывают напитки с непроизносимыми названиями. Порой ужасно хочется в такую кофейню, к людям с ТАКИМ кругом забот.

Паркуюсь напротив «Бомбического кофе». Лафферти таращится на меня. В глазах – скепсис.

– Майк, ты полностью уверен? – произносит он.

Это из «Крестного отца». Вероятно, Лафферти полагает, что я цитату не словлю. Ему неизвестно одно обстоятельство: фильм «Крестный отец» я смотрела несколько раз. Не по своей воле и с отвращением.

– Ты что, готова выложить четыре доллара за свой кофе? – уточняет Лафферти.

– И за твой тоже, – ободряю я.

Нервничаю, приближаясь к барной стойке; досажую на себя за мандраж. Посетители, все как один, напрягаются: как же, полицейская форма, оружие... К этому я привыкла. Поглазев, посетители снова утыкаются в ноутбуки.

У девушки за стойкой – анорексия, косая челка и вязаная шапка, которая эту челку фиксирует в диагональном положении. У юноши, который ей помогает,

волосы, темные у корней, на кончиках еще хранят остатки платинового цвета. Очки – огромные, как совиные глаза.

– Слушаю вас, – произносит юноша.

– Два кофе средней крепости, пожалуйста, – говорю я. (Не без удовлетворения замечая, что цена – не четыре, а два доллара за порцию.)

– Что-нибудь еще? – не отстает Совёныш. Он стоит к нам спиной, разливает кофе.

– Ага, – встречается Лафферти. – Плесни в кофе толику виски, раз уж взялся.

Произнесено с улыбкой. Лафферти явно ждет, что и эта цитата будет словлена. Я уже поняла: острит он в стиле моих дядюшек – пошло, предсказуемо, беззубо. Лафферти высок ростом и недурен лицом; должно быть, он привык нравиться.

Совёныш оборачивается, натывается на затяжную улыбку Лафферти.

– Спиртное не продаем.

– Я пошутил, – поясняет тот.

Совёныш с мрачным видом ставит стаканчики на стойку.

– Где здесь туалет? – спрашивает Лафферти. В тоне – ни намека на дружелюбие.

– Туалет не работает, – отвечает Совёныш.

Как же, не работает! Вон она, дверь в дальнем конце зала, и что-то не видать таблички «Ремонт»... Барменша в вязаной шапке отводит взгляд.

– А другого что, нету? – спрашивает Лафферти.

Обычно нам, патрульным, не отказывают. Все понимают: мы не в офисе торчим, а катаемся целый день. Без общественных туалетов нам никак не обойтись.

– Нет, – цедит Совёныш. – Что-нибудь еще желаете?

Молча расплачиваюсь. Иду к дверям. В обед будем у Алонзо кофе пить. Алонзо пускает нас, копов, в свой заплеванный сортир, даже если ничего не покупать. Алонзо улыбается. Алонзо знаком с Кейси. Алонзо известно, как зовут моего сына, и он не забывает о нем справиться.

* * *

– До чего славные ребята, – выдает Лафферти, когда мы выходим из кафе. – Просто души.

В голосе – горечь. Он оскорблен в лучших чувствах. Впервые мне жаль его.

Про себя я думаю: «Добро пожаловать в Кенсингтон. Зато не будешь больше гнать, что тебе все о нашем районе известно».

* * *

Смена заканчивается. Паркуюсь на стоянке. Проверяю машину тщательнее обычного – Лафферти ведь смотрит. Вместе топаем в офис отчитываться перед сержантом Эйхерном.

Тот уже у себя в кабинете. На самом деле помещение – коридорный «аппендикс» с бетонными стенами, которые «потеют», едва включишь кондиционер. Но это Эйхернова личная территория. Он даже табличку на дверь повесил: «Без стука не входить».

Мы послушно стучимся.

Эйхерн сидит за столом и таращится в компьютер. Без единого слова, без единого взгляда на нас принимает отчет.

– Доброй ночи, Эдди, – бросает он вслед Лафферти.

Я медлю в дверях.

– И вам, Мики, доброй ночи, – произносит сержант Эйхерн. С упором на «вам».

Говорить или нет? Решаюсь.

– Извините, уже известно что-нибудь о сегодняшней жертве?

Сержант Эйхерн тяжело вздыхает. Смотрит на меня поверх экрана. Трясет головой.

– Пока нет. Никаких новостей.

Эйхерн – невысокий, щуплый, седой и голубоглазый. Не то чтобы некрасив – просто комплексует из-за роста. В нем пять футов восемь дюймов[5 - Около 173 см.], во мне – двумя, если не тремя дюймами больше. При разговоре со мной Эйхерн обычно становится на цыпочки. Сейчас он избавлен от этого.

– Совсем никаких? – переспрашиваю я. – Разве эту женщину не опознали?

Эйхерн снова качает головой. Что-то я ему не верю. Станный он – никогда всех карт не раскроет, даже если нет причин для секретности. Видимо, таким способом дает понять, кто здесь главный. Меня Эйхерн недолюбливает. Наверное, из-за промаха, который я допустила вскоре после перевода из другого района. Сержант тогда, на планерке, выдал неправильные сведения о преступнике, который был в розыске, а я подняла руку и прямо указала на ошибку. Лишь потом поняла, что это было неправильно. Следовало промолчать, дожидаться конца планерки и сказать Эйхерну все наедине. Я поставила его в неловкое положение при подчиненных, это факт; но большинство сержантов спустили бы эпизод на тормозах или обратили в шутку. Эйхерн же так на меня глянул, что жуть взяла. Мы с Труменом решили, у сержанта с тех пор на меня зуб; при всяком удобном случае мы развивали эту тему. Однако за легкомысленными репликами мы оба, как я теперь понимаю, скрывали серьезную озабоченность.

– На панели я эту женщину не видела, – говорю я. – Это к вопросу о роде ее занятий.

– Ее род занятий меня не волнует, – цедит Эйхерн.

С языка вот-вот сорвется фраза «А должен бы волновать!». Факт важный. Означает, что погибшая либо недавно перебралась в наш район, либо оказалась здесь случайно. Мы, патрульные, лучше всех знаем свои участки. Мы постоянно на улице, заглядываем в каждый дом, в каждое новое заведение, общаемся с людьми. Сотрудники Восточного отдела, по крайней мере, задали мне этот вопрос – заодно с рядом других. Именно поэтому я покидала место преступления чуть успокоенная.

Воздерживаюсь от комментариев. Постукиваю пальцами по дверному косяку. Разворачиваюсь. Пора уходить. Эйхерн останавливает меня вопросом. Причем глядит по-прежнему в компьютер.

– Как там Трумен, Мики?

Тушуюсь. Не ожидала такого. Вымучиваю:

– Хорошо, должно быть.

– Вы с ним не контактируете, что ли?

Пожимаю плечами. Порой не поймешь, с какой целью Эйхерн затрагивает ту или иную тему. Но цель есть всегда.

– Странно, – продолжает сержант. – Я думал, у вас отношения.

Он поднимает глаза. Визуальный контакт на целое мгновение продолжительнее, чем это считается приличным.

* * *

По пути домой набираю бабушкин номер.

Мы редко созваниваемся. Еще реже встречаемся. Когда родился Томас, я решила: его детство будет кардинально отличаться от моего. То есть в жизни

моего сына должен быть минимум общения с Ба, да и со всеми О'Брайенами. Из необъяснимого чувства – словно чем-то обязана семье – я переступаю через себя, устраиваю для Томаса ритуальные визиты к Ба перед Рождеством или сразу после. Периодически звоню по телефону – чисто с целью убедиться, что Ба еще жива. Она выражает недовольство, но, я уверена, ничуть не тяготится ситуацией. Во-первых, никогда сама не звонит. Во-вторых, не предлагает посидеть с Томасом – даром что достаточно энергична для работы в кейтеринговой компании и для подработки в «Трифтвее»[6 - Название сети дешевых супермаркетов.]. Вот интересно – если я с ней контактировать перестану, Ба догадается мой номер набрать? Вряд ли.

– Чего надо? – бурчит Ба после седьмого гудка. Она всегда так отвечает.

– Это я.

– Кто «я»?

– Мики.

– А, – тянет Ба. – По голосу-то и не признала.

Молчу, перевариваю. Застарелое чувство вины, вот это что.

– Бабушка, ты о Кейси давно слышала?

– А тебе какое дело? – осторожно уточняет Ба.

– Так просто.

– Ничего я не слышала. Сама знаешь – я с ней не общаюсь. Мне этот гемор не нужен. Я с ней не общаюсь, – повторяет Ба для пущей убедительности.

– Ладно. Пожалуйста, позвони, если что-нибудь узнаешь.

– Что ты затеяла? – цедит Ба. Теперь уже с полноценным подозрением.

– Ничего.

– Держись от нее подальше, не то наплачешься.

– Разберусь.

Следует короткая пауза, после которой Ба выдает:

– Чтоб ты да не разобралась.

Очень ободряюще звучит.

Ба меняет тему.

– Как поживает мой малыш?

К нам с Кейси она никогда так нежно не относилась, как к моему сыну. Ба его балует. Когда Томас у нее – выуживает из сумки древние слипшиеся леденцы, разворачивает и кормит его с рук.

– Лучше всех, Ба.

– Да ладно.

Впервые с начала разговора чувствую по голосу – она улыбается.

– Перестань, Мики. Сглазишь.

– Предрассудки.

Жду. Почему-то надеюсь, что она скажет: «Привози Томаса» или «Поглядеть бы, как вы устроились на новом месте».

– У тебя всё? – выдает Ба.

– Всё. Кажется, всё.

Прежде чем я успеваю добавить хоть слово, она отключается.

* * *

Миссис Мейхон, квартирная хозяйка, орудует граблями перед крыльцом. Дом в колониальном стиле, нам с Томасом отведен третий этаж – надстроенный много позже, с нелепой планировкой комнат. Подниматься надо по шаткой наружной лестнице, которая с фасада не видна. Территория к дому прилегает небольшая, но есть длинный задний двор, где Томасу позволено играть, где болтается на дереве старая автомобильная шина – импровизированные качели. Еще один плюс (всего их два) – это размер арендной платы. Пятьсот долларов в месяц, включая воду, электричество и прочее. Мне повезло: у коллеги брат снимал эту квартиру, потом переехал, и коллега дал мне телефон хозяйки. По словам этого брата, квартира непафосная, зато чистая и с хозяйкой легко поладить. Я ухватила за предложение и в тот же день выставила на продажу свой дом в Порт-Ричмонде. Сердце кровью обливалось – так жаль было дома. Но другого выхода я не видела.

Подъезжаю. Миссис Мейхон прерывает работу. Стоит, опершись на деревянную рукоять грабеля. Машу ей, еще сидя за рулем.

Выхожу из машины. Снова машу. На заднем сиденье у меня пакет с продуктами – будет чем занять руки. Миссис Мейхон из числа досужих; а вот я сейчас проскочу, вся такая занятая, с веским поводом не останавливаться для разговоров. Я заметила: почтальон, проходя мимо дома миссис Мейхон (неизменно торчащей у крыльца), тоже напускает на себя озабоченный вид. Когда же я, арендаторша, появляюсь в поле зрения миссис Мейхон, ее глаза загораются волнением и надеждой. Она, похоже, только и ждет, чтобы ее попросили о каком-нибудь одолжении. Впрочем, миссис Мейхон и так вечно во всё встречается. Ей до всего дело – до квартиры, до машины, до нашей с Томасом одежды (как правило, не соответствующей погодным условиям). Советы поступают с быстротой и регулярностью, которые больше уместны в больнице, при даче лекарств тяжелым пациентам. У миссис Мейхон коротко стриженные седые волосы и дряблые брыла, колышущиеся при каждом движении головой. Ходит она в фуфайках (то утепленных, то облегченных, смотря по сезону) и в мешковатых синих джинсах. Со слов соседей мне известно, что миссис Мейхон

была замужем, однако, похоже, никто не знает, куда делся муж. В плохие минуты я воображаю, что бедняга скончался, и причиной смерти стало перманентное раздражение на жену. Всякий раз, когда Томас капризничает, садясь в машину или вылезая из нее, я буквально чувствую взгляд миссис Мейхон из-за занавески: так рефери следит за ходом матча. Порой миссис Мейхон даже выходит на крыльцо – наверное, из окна плохо видно. В таких случаях у нее всегда руки скрещены на груди, а в глазах – осуждение.

Выныриваю из машины с пакетом покупок. Миссис Мейхон только того и дожидалась.

– К вам сегодня заходили, милочка.

Вот еще новость.

– Кто заходил?

Миссис Мейхон донельзя довольна.

– Он не представился. Только сказал, что еще придет.

– Как он выглядел?

– Высокий. Темноволосый. Красивый, – сообщает миссис Мейхон заговорщицким тоном.

Саймон. От догадки начинает сосать под ложечкой. Долго молчу. Наконец спрашиваю:

– А вы ему что сказали?

– Что вас нет дома.

– А он что сказал? А Томас его видел?

– Не видел. Этот человек позвонил в мою дверь. Насколько я поняла, он думал, вы ему откроете. Думал, вы внизу живете.

– И вы указали ему на ошибку? Сообщили, что я живу на третьем этаже?

– Ничего подобного, – обижается миссис Мейхон. – Стану я такую информацию выкладывать первому встречному.

Молчу. Колеблюсь. Ужасно не хочется открывать перед миссис Мейхон хоть один закоулок личной жизни; но, похоже, вариантов нет.

– В чем дело? – спрашивает она.

– Если этот человек снова появится, скажите ему, пожалуйста, что мы съехали. Что мы тут больше не живем. Что нового адреса вы не знаете.

Миссис Мейхон расправляет плечи. Наверное, от гордости – как же, задание получила. Секретное.

– Надеюсь, проблем не будет, милочка. Мне проблемы не нужны.

– Он неопасный, миссис Мейхон. Просто я с ним перестала общаться. Поэтому мы сюда и переехали.

Миссис Мейхон кивает. Впервые вижу в ее глазах нечто вроде одобрения.

– Хорошо. Сделаю, как вы просите.

– Спасибо, миссис Мейхон.

Она машет рукой – дескать, не за что. Затем, не в силах больше сдерживаться, сообщает:

– Сейчас пакет порвется, милочка.

– Что, простите?

– Я говорю, у вас пакет сейчас порвется. Пакет с продуктами. Они, пакеты, на такую тяжесть не рассчитаны. Поэтому я всегда прошу девушку в супермаркете складывать мои покупки в два пакета.

– В следующий раз и я так сделаю, миссис Мейхон. Обязательно.

* * *

Когда я впервые вышла на работу после рождения Томаса, тоска по нему была ощутима физически, терзала меня, как жестокий голод, целый день до вечера. Спеша за сыном в больницу (он был на программе дневного ухода), я воображала, что мы соединены резинкой; по мере нашего сближения резинка укорачивалась. Томас подрос – и чувство стало менее болезненным, превратилось в смягченную версию себя. Но и сейчас я скачу вверх по лестнице через две ступени – потому что меня ждет восторженное личико, улыбка от уха до уха, ручонки, простертые для объятий.

Открываю дверь. Сын мчится навстречу, повисает на мне. Позади него тенью маячит Бетани, приходящая няня.

– Я скучал, – шепчет Томас. Его личико в дюйме от моего лица, его ладошки – на моих щеках.

– А ты хорошо себя вел? Был послушным мальчиком?

– Да.

Взглядываю на Бетани, ища подтверждения или опровержения. Бетани уже уткнулась в телефон, уже на низком старте. Не в первый и не во второй раз думаю, что надо сменить няню. Томас с Бетани не ладит. Дня не проходит, чтобы он вслух не вспомнил свой садик, тамошних приятелей и воспитателей. Но из-за моего графика – две недели дневные смены, две недели ночные – приходящую няню еще попробуй найди. Бетани, девица двадцати одного года, подрабатывает гримером. Имеет свободный график и вдобавок берет недорого. Впрочем, плюсы ее мобильности полностью нивелируются ее ненадежностью. В последнее время Бетани только и делает, что врет по телефону – мол,

приболела. В результате я израсходовала почти все положенные мне отгулы. А в те дни, когда Бетани все-таки изволит появляться, она опаздывает, в результате чего я тоже опаздываю, в результате чего сержант Эйхерн все сильнее мною недоволен.

Благодарю Бетани, расплачиваюсь с ней. Она уходит. Ни «спасибо», ни «до свидания». Как обычно. Зато в доме сразу легче дышать.

Томас глядит на меня.

– А когда я в садик вернусь?

– Томас, ты же знаешь – садик от нашего нового дома слишком далеко. На будущий год, в сентябре, ты пойдешь в другой садик – или забыл?

Томас вздыхает.

– Потерпи немножко. Меньше года осталось.

Снова вздох.

– Разве тебе так уж плохо с Бетани?

* * *

Конечно, меня мучает совесть. Каждый вечер после дневной смены да еще, как правило, по утрам я пытаюсь компенсировать сыну издержки торчания с Бетани. Я сажусь с ним на пол, и мы играем, пока Томас сам не устанет. Еще я учу его всему, что нужно знать о мире; впрок набиваю маленькую головку информацией, воспитываю в нем стойкость, торможу любопытство – чтобы хватило на время «без меня», на бесконечные недели, когда я работаю во вторую смену и не имею возможности сама укладывать сына спать.

Сегодня он в радостном возбуждении. Показывает, что соорудил в мое отсутствие. Это целый город с вокзалом. Вот и деревянные паровозики (я купила их у бывшего владельца); вот шары из бумаги – они символизируют скалы, горы

и дома. А банки и бутылки, выуженные Томасом из мусорницы, вполне сошли за деревья.

– Бетани тебе помогала, Томас?

Спрашиваю с надеждой.

– Нет. Я всё сделал сам.

В голосе – гордость. Где Томасу понять, что в ответ я хотела бы услышать: «Да, Бетани помогала».

Для неполных пяти лет Томас высокий и сильный мальчик. Он очень подвижный и чересчур догадливый. А еще красивый. Он так же красив и так же умен, как Саймон. Но, в отличие от своего отца, Томас – добрый.

* * *

Ни назавтра, ни на второй день, ни на третий из убойного отдела не звонят. Проходит две недели. Эйхерн упорно назначает мне в напарники Эдди Лафферти. То ли дело было с Труменом. И даже в одиночку, как после его травмы. При нынешнем урезанном бюджете патрульных редко отправляют на машине по двое, но наш тандем был исключением. Трумен и я сработались идеально, довели реакции практически до синхронности. Результативность была лучшая по району. Едва ли эффект от патрулирования в паре с Лафферти дотянет до прежних успехов. Теперь каждый день я выслушиваю излияния Эдди. Он распространяется о своих гастрономических, музыкальных и политических пристрастиях. Он триндит о бывшей жене № 3; он критикует миллениалов и стариков. Я отмалчиваюсь. Я еще молчаливее, чем в день первого совместного патрулирования – если такое возможно.

Нас переводят из утренней смены в вечернюю. Теперь мы колесим по району с четырех до полуночи. Усталость давно сделалась привычной.

Тоскую по сыну.

Уже неоднократно (пожалуй, слишком много раз) спрашивала Эйхерна о той молодой женщине, найденной в Трекс; опознали ее или нет? Установили причину смерти? Неужели убойный отдел не имеет к нам вопросов?

Сержант Эйхерн неизменно отмахивается.

* * *

В понедельник, в середине ноября (мертвое тело обнаружили почти месяц назад), иду к Эйхерну до начала смены. Сержант занят возле копира. Не успеваю я рот раскрыть, как он резко оборачивается и бросает:

– Нет.

– Чего нет?

– Новостей нет, – поясняет Эйхерн.

– До сих пор не получены результаты вскрытия? А еще что-нибудь известно?

– Почему вас это так интересует, Фитцпатрик?

Сержант Эйхерн смотрит с каким-то странным выражением. Вроде даже улыбается. Дразнит меня, что ли? Похоже, у него есть некий козырь...

Делается не по себе. Кроме как с Труменом, я ни с кем из коллег не говорила о Кейси. И у меня ни малейшего желания начинать этот разговор прямо сегодня.

– Просто, по-моему, это очень странно, сержант Эйхерн. Почти месяц, как тело найдено, а о погибшей до сих пор нет данных. Согласитесь, это наводит на мысли.

Эйхерн выпускает тяжкий вздох. Кладет ладонь на крышку копира.

– Уясните себе: это сфера убойного отдела, а не наша с вами. Я слышал, результаты вскрытия ничего не прояснили. А поскольку личность жертвы не

установлена, подозреваю, что убойный отдел занялся более спешными делами.

– Вы шутите?

Прикусываю язык, но поздно – вопрос уже сорвался.

– Нет, я серьезен, как инфаркт, – цедит Эйхерн. Это его любимое присловье.

Он отворачивается к копиру.

– Эту женщину задушили, – говорю я. – Все признаки удушения налицо. Сама видела.

Эйхерн напрягается. Я его прессую, это ясно. А он не любит, когда его прессуют. Некоторое время стоит ко мне спиной, руки в боки, ждет, когда копир выплюнет копии документов. Молчит.

* * *

Трумен сказал бы: уходи подобра-поздорову. «Это политика, Мик; кругом одна политика, – вот его слова. – Главное – правильно выбрать, к кому подмазываться. Подмазывайся к Эйхерну, если это нужно для самосохранения».

Но у меня подмазываться никогда не получалось. Правда, я предприняла несколько попыток. Например, я знаю, что Эйхерн обожает кофе; вот я и дарила ему кофе на Рождество. Один раз купила пакет кофейных зерен в бутике рядом с садиком, в который ходил Томас.

– Ну, и что это? – спросил Эйхерн, уставившись на пакет.

– Кофе в зернах.

– То есть теперь уже и молоть надо самому?

– Да.

– У меня нет кофемолки.

– Вот как. Ну, может, на следующее Рождество...

Эйхерн натянуто улыбнулся, сказал: «Не заморачивайтесь», вежливо поблагодарил.

Увы – мои усилия к оттепели не привели. Поскольку сержант руководит нашим подразделением, именно от него зависит, в какую смену и с кем я попаду, и именно ему я отчитываюсь в девяти случаях из десяти. Патрульные, которым Эйхерн благоволит, – сплошь его приятели. Главным образом, мужчины. Их мнение он спрашивает, их соображения выслушивает со вниманием, то и дело кивая. Сама наблюдала такую сцену с Эдди Лафферти. Легко представляю обоих в школьной бейсбольной команде: Эйхерн – лидер, Лафферти – запасной. Эту же схему они и на службу перенесли. Похоже, она обоим устраивает. Вывод: Лафферти умнее, чем кажется. Или хочет казаться.

* * *

Наконец копии готовы. Эйхерн забирает их, со стуком выравнивает стопку.

Я все стою. Молчу, жду ответа. В ушах звенят слова Трумена: «Уходи, Мик».

Эйхерн вдруг оборачивается. Физиономия недовольная.

– Если у вас вопросы, почему бы вам не обратиться непосредственно в убийный отдел?

И проходит мимо меня широким, уверенным шагом.

Ценный совет. Отлично знаю, что будет, если я и впрямь обращусь в убийный отдел. Схема следующая. У жертвы нет родителей, готовых плакаться местным телеканалам, – значит, не будет освещения убийства в прессе. А раз пресса молчит – то и дела как такового тоже нет. Обычная шлюшка склеила ласты на Кенсингтон-авеню. Ничего нового. Обитателям Риттенхаус-сквер[7 - Престижный центральный район Филадельфии.] не о чем беспокоиться.

* * *

За всю смену я едва ли два слова сказала. Мне тошно.

Даже Лафферти заметил: что-то не так. Он тянет кофе, косится на меня над краем стакана. В конце концов не выдерживает:

– Ты в порядке?

Смотрю прямо перед собой. Если при ком и жаловаться на Эйхерна, то уж точно не при Эдди Лафферти. Неизвестно, до какой степени они близки. Но ответить что-то надо. И я отвечаю, тщательно выбирая выражения:

– Просто я расстроена.

– Чем?

– Помнишь, месяц назад мы обнаружили мертвую женщину? В Трекс?

– Ну.

– Так вот, уже есть результаты вскрытия.

Лафферти прикладывается к стакану кофе. Обжигается, морщит губы.

– Ага, слышал.

– Эти результаты сочли неубедительными, – продолжаю я.

Он молчит.

– Неубедительными, представляешь?

Лафферти пожимает плечами.

– А я что? Я не спец.

– Но ты ведь тоже ее видел. Тебе открылась та же картина, что и мне.

Он зачем-то отворачивается к окну. Две минуты проходят в молчании.

Наконец напарник открывает рот.

– Тут как посмотреть, Мик. С одной стороны, оно и неплохо.

Не нахожусь с ответом. Может, я его неправильно поняла?

– Я хотел сказать... Я имел в виду, смерть – штука паршивая. Но, по-моему, чем так жить, уж лучше поскорее... того...

Меня пробирает озноб. Молчу, чтобы не сорваться на Лафферти. Сосредоточиваюсь на дороге.

Не рассказать ли ему про Кейси? Наверное, он смутится. Устыдится резкости своих суждений. Но прежде чем я успеваю произнести хоть слово, Лафферти кивает – на левый тротуар, затем на правый.

– Что с них взять, с этих девок?

И крутит пальцем у виска. Дуры, дескать. Мозгов – ноль.

У меня челюсть отвисает.

– Ты это о чем?

Говорю еле слышно. Лафферти вскидывает брови. Взглядываю на него, чувствую, что краснею. Моя вечная проблема. Щеки начинают пылать по любому поводу – от гнева, от смущения и даже от радости. Как меня еще в полицию взяли с таким недостатком?

– Ты о чем? Что ты имеешь в виду?

– Да так. Просто ляпнул.

Он поводит руками по сторонам – дескать, сама зацени обстановку.

– Ну, мне их это... того... жалко.

– Да? А по первой фразе не скажешь... Ладно, допустим.

– Слышь, Мик, я ж никому не в обиду. Расслабься.

Тогда

Помню, нас повели на балет «Щелкунчик». Поход был организован для пяти- и четвероклассников. Мне уже исполнилось одиннадцать, я была старше всех на параллели. Кейси только-только сравнялось девять.

Я была молчуньей. Если и говорила, то едва слышно. И бабушку, и почти всех учителей это очень раздражало, мне постоянно приказывали шире открывать рот. Друзей у меня, можно сказать, не было. На переменках я читала книги. Радовалась плохой погоде, когда можно сидеть дома.

Кейси, напротив, заводила приятелей везде, где бы ни появилась. Как сейчас вижу ее, тогдашнюю: беленькая, вечно хмурая кубышка с сильными, крепкими ручонками и ножонками. Передние зубы у нее торчали по-кроличьи, и Кейси старалась скрыть этот недостаток, натягивая на зубы верхнюю губу. В своей компании она считалась заводилой, старшие родственники ее любили. Но и врагов у Кейси хватало. Среди них числились главным образом ребята, травившие слабых и бедных: Кейси с раннего детства остро чувствовала тяжесть этого бремени – бедности. Не медля и не раздумывая, она вызывала обидчика на бой – даже если и жестокость, по мнению учителей, ей померещилась, и «жертва» вовсе не хотела, чтобы ее защищали, а то и просто не нуждалась в защите. Именно один из таких эпизодов и привел к исключению Кейси из школы Святого Спасителя (связь между ее нравом и названием школы уже тогда казалась мне горькой иронией). Кейси вышвырнули; это означало, что уйти должна и я. Бабушке было удобнее, чтобы мы учились в одной школе.

Для меня это стало трагедией. Я любила нашу школу. И меня там любили сразу две наставницы, одна – мирянка, другая – монахиня. Обе прониклись ко мне, сумели прорваться через мою застенчивость, разглядеть и вытащить на свет нечто скрытое во мне. Правда, на это понадобился не один год. Обе наставницы, независимо друг от друга, поведали Ба о моей одаренности. Хотя я и оценила их инициативу – я всегда чувствовала, что имею поводы гордиться собой, и вот ощущение подтвердилось, – все-таки жалела, что они так поступили. Для Ба «одаренная» означало «спесивая». Нет, наказания не последовало, но некоторое время она глядела на меня косо.

И вот Кейси доигралась – мы обе вылетели. Помню, Ба усадила нас на диван и нависла над нами.

– Ты, – произнесла она, ткнув в меня пальцем, – должна приглядывать за ней, – кивнула на Кейси.

Нас записали в публичную школу на Фрэнкфорд-стрит. Наши новые товарищи были из бедных и/или неблагополучных семей; слишком бедных и слишком неблагополучных, чтобы учиться в приходских школах. Вероятно, и мы в это заведение угодили, потому что втроем с Ба подпадали под обе категории.

Школа называлась «Гановер». Кейси предсказуемо сошлась с группой злостных прогульщиков; на меня никто не обращал внимания. В «Гановере» застенчивые дети были предоставлены самим себе. Каждый, кто не усложнял учителям жизнь, получал одну-две похвалы за хорошее поведение и бывал благополучно забыт. Уделом такого ребенка становилось тихое увядание на классной «галерке». Впрочем, не следует винить в этом одних только учителей. Попробуй-ка уследи за тремя десятками хулиганов, сконцентрированных в тесном помещении. В таких условиях учителя просто выживали, как умели.

* * *

Кстати: не учись мы в «Гановере», не видать бы нам никакого «Щелкунчика». Детям из приходских школ такие подарки никогда не доставались. А нам, «публичным», городские власти регулярно подкидывали то куртейки (предполагалось, что в них и зимой не замерзнешь), то тетради с карандашами (предполагалось, что они будут использованы по назначению), то такие вот культпоходы (предполагалось, что мы пару часов сможем поразмышлять над

вопросами, право на которые есть только у богатых и праздных).

Но тогда... Тогда я ждала балета с нетерпением.

Платье у меня было одно-единственное, и то – из магазина секонд-хенд; хлопчатобумажное, голубое, без рукавов, с белыми цветиками на лифе, оно казалось мне прелестным. Ба купила его в приступе мотовства, каковые крайне редко ее охватывали. Но на тот момент платье провисело в шкафу уже два года, и я успела из него вырасти. Вдобавок Ба напялила на меня синюю куртку (перешедшую от Бобби, нашего двоюродного брата с материнской стороны). Куртка была мало того что мальчуковая, так еще и ни разу не стиранная, с потными разводами в подмышках. От нее по?том припахивало, как от самого Бобби. В сочетании с курткой платье выглядело нелепо. Это я даже в свои одиннадцать понимала. Но я никогда не видела настоящий балет, и неизвестно почему мне хотелось показать: я осознаю, где балет, а где, к примеру, кино; я улавливаю разницу, я прониклась важностью момента. Поэтому я надела голубое летнее платье вместе с синей курткой. В таком виде, уткнувшись в книжку, я и торчала в школьном коридоре, ждала, когда за нами приедут автобусы.

Прямо передо мной, по обыкновению окруженная приятелями, веселилась Кейси.

Наконец автобусы приехали. Вслед за Кейси я поднялась по ступенькам, довела сестру до заднего сиденья, а сама села чуть впереди. Я сделала это намеренно: стремилась продемонстрировать учителям (и себе самой) независимость от Кейси. При ней я была увереннее, и меня это напрягало.

* * *

Уроки музыки у нас тогда вел мистер Джонс, человек веселый и славный. Он-то и организовал культпоход на «Щелкунчика». Он был молод – пожалуй, моложе, чем я сейчас, – и уже на следующий год его переманила какая-то более приличная пригородная школа. На подъезде к концертному залу мистер Джонс встал во весь рост, дважды хлопнул в ладоши и взмахнул правой рукой, выдвинув два пальца. Таким способом он призывал нас к тишине. Каждый должен был повторить его жест. Как обычно, я выждала, пока взлетела вверх первая детская ручонка, и лишь потом, с чувством облегчения, сама ответила

соответствующим движением.

– Ребята, – заговорил мистер Джонс. – Надеюсь, все вы помните о правилах, которые мы обсуждали еще в классе? Ну-ка, что это за правила?

– Сидеть тихо! – заорали из задних рядов.

– Да. Правило номер один. – Мистер Джонс загнул палец. – Дальше.

– Не пинать переднее кресло! – повторил тот же голос.

– Пожалуй, – согласился мистер Джонс. – Правда, я об этом не упоминал; хотя следовало бы.

Без особой уверенности он загнул второй палец.

– Что еще? Ну, смелее, ребята!

Я знала, что еще. «Не хлопать в ладоши, пока другие не захлопали». Но я молчала.

– Не хлопать в ладоши, пока другие не захлопали, – произнес мистер Джонс.

– Правило номер четыре: сидеть смирно, – произнес мистер Джонс.

– Правило номер пять: не шептаться, – произнес мистер Джонс. – Не хихикать. Не ерзать, как детсадовцы.

Сюжет «Щелкунчика» он пересказал нам еще на уроке, еще неделю назад.

– В большом доме жила девочка. Это было давно, так что все на сцене будут одеты по-старинному.

На этой фразе мистер Джонс задумался. Помолчал и продолжил:

– И еще: это балет, а в балете мужчинам положено носить, гм... колготки. Уясните это себе сейчас, чтобы потом пальцами не показывать. Так вот. На Рождество родители этой девочки приглашают гостей, и среди них – подозрительный крестный. Девочка его боится, но вы не бойтесь – на самом деле он хороший парень. Крестный дарит девочке куклу, которую зовут Щелкунчик. Я вам это заранее говорю, чтобы вы привыкли к имени[8 – Английское слово «nutcracker» («nut» на сленге – голова, во множественном числе – тестикулы; «to crack» – ломить, давить, причинять боль) – имеет, помимо прямого значения «щипцы для колки орехов», еще и ряд сленговых значений: «удар ниже пояса»; «тесные трусы»; «самогон»]. Ночью девочка засыпает и видит сон. Это и есть балет. Во сне Щелкунчик оживает и становится принцем, сражается с гигантскими мышами, забирает девочку в страну снежинок и еще в какую-то другую страну, забыл название. Короче, там всё из конфет. Девочка и принц смотрят, как танцуют жители этой страны. Конец.

– А в реальную жизнь она, девчонка эта, вернулась потом? – подал голос кто-то из наших мальчиков.

– Не помню, – отвечал мистер Джонс. – Вроде вернулась.

* * *

Хоть мы с сестрой и росли всего в трех милях от центра Филадельфии, нас туда возили раз в году, первого января, смотреть, как десятки наших кузенов, дядьев, их начальников и приятелей участвуют в Параде ряженных. Вполне возможно, что Музыкальная академия (ряженные идут в том числе и по Брод-стрит, где она расположена) попадала в поле моего зрения; но внутри я, конечно, никогда не была. Здание просто очаровательное – из красного кирпича, с арочными окнами и старинными фонарями, что всегда горят у входа.

Первыми автобус покинули учителя. Они выстроились коридором, через который нам надо было проследовать, махали руками в перчатках, направляя нас к дверям.

Я оказалась позади Кейси и ее компании. Сестра нарочно громко шаркала ногами. Ух и влетело бы ей от бабушки, окажись она здесь! Кейси уже тогда любила «нарываться»; проверяла, что ей спустят, а что – нет. Понятно, родственники и наставники всё меньше склонны были прощать ее выходки. Я,

когда могла, усмиряла Кейси – мне больно было видеть, как ее наказывают.

Мы вступили в фойе, где уже толпилась публика. Больше всего меня тогда поразили девочки-зрительницы. Их было очень много; все они пришли со своими мамами, причем в разгар учебного дня. Почти все были мне ровесницами, некоторые – чуть младше. Все до единой – белые. Гановерцы, по контрасту, могли бы сойти за делегацию от ООН. Рекой эти белые девочки двигались от Мейн-лайн; я уже знала, что это за улица, к какому району она принадлежит. Казалось, девочки следуют особому, тайному дресс-коду: на каждой было изящное пальто до колен, непременно однотонное и яркое, а под ним – платье, которое больше пристало бы подарочной кукле: атласное, шелковое или бархатное, с оборками, кружевами и пышными рукавчиками. Девочки выглядели, как драгоценные камни, или цветы, или звезды. Каждая была в белых колготках и черных, начищенных до блеска туфельках на маленьком каблучке и с перепонкой. Даже прически у них были почти одинаковые – волосы собраны в узел высоко на затылке. Такие же прически мне предстояло увидеть у балерин.

Нас, гановерских, приехало человек шестьдесят, если не все восемьдесят; из-за нас в фойе стало не протолкнуться. Мы застыли в полной растерянности.

– Вперед, ребята, – скомандовал мистер Джонс. Но и у него вид был смущенный.

Наконец к нему подошел улыбающийся распорядитель и спросил, не из «Гановера» ли вся эта ребятня. С явным облегчением мистер Джонс кивнул.

– Значит, вам сюда, – произнес распорядитель.

Мы продвинулись ближе к удивительным девочкам с их мамами. Даже они, мамы, не говоря о дочках, уставились на нас, разинув рты. Смерили взглядами наши пуховики, наши кеды, наши неприбранные волосы. Я подумала: мамы, наверное, на работе выходной взяли. Мне и в голову не пришло, что они вообще не работают. Все взрослые женщины, которых я знала, работали, причем, как правило, в нескольких местах. Что касается знакомых мужчин, из них работала лишь половина.

* * *

Ни за что не забыть мне мгновение, когда пополз вверх занавес. С самого начала я находилась в дивном трансе, а тут и вовсе оцепенела. На сцене падал снег, казавшийся настоящим; о снеге мистер Джонс не предупреждал. Затем я увидела особняк – величественный снаружи, восхитительно-роскошный изнутри. Появились нарядные дети в сопровождении нарядных взрослых. Детям были преподнесены подарки, перевитые лентами; детей развлекали куклы-танцоры. Потом дети поссорились, но разругать ситуацию поспешили взрослые – ласковые, терпеливые, любящие; ссора их не рассердила, а только умилила. А еще был оркестр – живой! Каждая моя клеточка отзывалась на неземные движения танцоров. Что же до музыки, она открывала мне тайны, о существовании которых я даже не догадывалась. От избытка чувств на глаза навернулись слезы; я их не вытирала, чтобы не привлечь внимания одноклассников. В волшебном полумраке зрительного зала я сидела неподвижно, позволяя слезам катиться по лицу и стараясь не шмыгать носом.

Впрочем, скоро возня гановерцев спугнула все это волшебство.

Справедливости ради скажу: никого из нас никогда не учили сидеть тихо столько времени подряд. В школе были перемены, да и на уроках дети вертелись и ерзали. Некоторые понимали, что должны вести себя прилично хотя бы из благодарности, хотя бы ради мистера Джонса; но привычка брала свое. Гановерцы елозили ногами и локтями, перешептывались – ни одно правило не осталось ненарушенным. Мистер Джонс и другие учителя только и делали, что оглядывались на нарушителей и делали характерный жест двумя пальцами: мол, я слежу за тобой. В школе и дома нам по сто раз повторяли: слушайся старших; не путайся под ногами; не вступай, пока тебя не спросили. Но чтобы просидеть без движения три часа подряд, наблюдая некое замедленное, полное непонятных ассоциаций действо... Для этого требовался навык, которого у большинства из нас не было.

Кейси сидела рядом со мной. Я видела: она еле терпит. Она уже начала ерзать. Вот подтянула к подбородку и обхватила руками колени, вот с грохотом опустила ноги на пол. Вертит головой. Пихает меня локтем, будто случайно, и ойкает. И с энтузиазмом зевает. И прикидывается, что уснула от скуки.

Перед моей сестрой сидела одна из тех удивительных девочек. Ее красное пальто было аккуратно повешено на спинку кресла. В первый момент, когда мы только добрались до своих мест, в ноздри нам ударил парфюм ее матери. В ответ на очередное, особо шумное движение Кейси эта девочка оглянулась.

Она оглянулась всего один раз, но моей сестре этого хватило.

Моя сестра резко подалась вперед и прошипела:

– Чего вылупилась?

Девочка стала смотреть на сцену. Кейси за ее спиной стиснула и подняла кулак. Целое мгновение, бесконечное и кошмарное, я была уверена: сейчас она ударит. Сейчас саданет прямо в напряженный затылок, под тугий узел волос. И я размахнулась, желая перехватить руку Кейси. Но тут повернула голову девочкина мама. Рот ее замер в безмолвном крике ужаса, и Кейси опустила кулак, скукожилась в кресле – пристыженная, беспомощная перед социальной пропастью, глубину которой мы до той поры не осознавали.

* * *

И по сей день я не уверена, что явилось последней каплей – та женщина нажаловалась или мысль пришла всем учителям одновременно. Словом, было решено увезти нас подобру-поздорову. Помню, в антракте нас выстроили парами и погнали через людное фойе, мимо чудесных девочек и их мам, которые теперь стояли в очереди за пирожными. Помню искаженные яростью лица учителей. Еще помню, что все время была в куртке Бобби, но на выходе почему-то вздумала снять ее. Теперь, будучи взрослой женщиной, я понимаю: это не имело смысла, нас ведь выводили на холод. Но тогдашняя, одиннадцатилетняя Мики, наверное, хотела просигнализировать другим балетоманам: я не с «этими», я – отдельно; я понимаю, как нужно одеваться на балет. Я – одна из вас. И я вернусь. Когда-нибудь я вернусь.

Вот какую смысловую нагрузку несло для меня голубое платье, слишком тесное и короткое. Несло – да не донесло. Мой поступок лишь усугубил ситуацию. Двое четвероклассников, мальчик и девочка, так и прыснули.

– На кой она этот обрубок напялила? Вся задница наружу! – выкрикнул мальчик.

Несколько гановерцев засмеялись. Дальше все было вполне предсказуемо. Кейси, которая шла чуть впереди меня, словно обрадовалась поводу применить

кулак. С перекошенным лицом она набросилась на злополучного четвероклассника. Слишком долго сдерживала ярость. Может, чуть ли не с рождения.

– Кейси, не надо! – пролепетала я.

Но было поздно.

Сейчас

После того, как Лафферти выдал «Что с них взять, с этих девок?», выбора у меня нет. Иду к сержанту Эйхерну. Я намерена просить в напарники кого-нибудь другого. Я даже речь заготовила – у нас, мол, стиль работы разный. Незачем мне хаять Лафферти, все-таки он – приятель Эйхерна. Однако прежде чем я успеваю закончить свою речь, Эйхерн бросает:

– Ладно, Мики.

И даже не глядит на меня, даже взгляд от смартфона не отвлекает.

* * *

Неделю работаю одна. Так гораздо лучше. Спокойнее. Останавливаюсь, когда и где считаю нужным, сама выбираю, по какому вызову ехать. Особенно хорошо, что можно позвонить Бетани и позвать к телефону Томаса. Когда долго нет вызовов, я рассказываю сыну сказки, или историю улиц, по которым катит моя патрульная машина, или излагаю планы на наше с Томасом будущее. Себя я убеждаю вот в чем: да, конечно, телефон – это не живое общение, но по крайней мере Томас получает пищу для ума. От меня получает. Вдобавок развиваются его речевые навыки. Сын становится хорошим собеседником. Порой даже создается иллюзия присутствия Трумена в машине.

* * *

Однажды на утренней планерке сталкиваюсь с незнакомцем. Он молод, серьезен с виду, одет в строгий серый костюм. Я нахожу его очень приятным. Одну руку незнакомец держит согнутой на уровне своего подтянутого живота, в другой сжимает папку из коричневой бумаги. «Наверное, следователь», – думаю я. Незнакомец ни с кем не разговаривает. Не иначе, сержанта дожидается.

Наконец входит Эйхерн. Требуем всеобщего внимания. Тут-то незнакомец и представляется. Его зовут Дейвис Нуэн, он из Восточного убойного. И у него новости.

– Сегодня ночью, – сообщает Нуэн, – в вашем районе совершены два убийства.

Слава богу, жертвы уже опознаны. Одна – семнадцатилетняя Кэти Конвей, работавшая в компании «Делко». Белая. Объявлена в розыск неделю назад. Вторая – Анабель Кастильо, восемнадцати лет, сиделка. Латиноамериканка.

– Обе жертвы, – говорит Нуэн, – были обнаружены на участках, между которыми много общего, и в сходных позах. Конвей – на пустыре в Тайоге, ничем не прикрытая, никак не замаскированная, заметная с улицы. Кастильо – на пустыре в Харт-лейн; ноги под сгоревшей машиной, голова и плечи выставлены напоказ, видны любому прохожему. Обе были, по всей вероятности, вовлечены в бизнес сексуальных услуг. Обеих, скорее всего, задушили. И об обеих погибших никто не заявлял в течение многих часов после смерти.

(Это как раз неудивительно. В Кенсингтоне давно привыкли к виду безжизненных тел. Люди лежат прямо на улицах, и никто не разбирается, мертвы они или только без сознания.)

Нуэн увеличивает фото погибших. На несколько долгих секунд полицейские замирают. Анабель и Кэти улыбаются с экрана – словно из прошлой, более благополучной жизни. Вот Кэти на вечеринке – наверное, по случаю своего шестнадцатилетия; стоит у бассейна, очень довольная. Вот Анабель обнимает малыша – надеюсь, не своего.

– Информация, – предупреждает Нуэн, – сугубо конфиденциальная. Мы ничего не сообщали СМИ; только уведомили родственников.

Он выдерживает паузу, продолжает:

– В связи с этими событиями мы подняли дело молодой женщины, найденной на Герни-стрит в октябре, хотя тогда результаты вскрытия ничего не дали.

Взглядываю на Эйхерна. Тот отводит глаза.

– Та женщина до сих пор не опознана, – говорит Нуэн. – Однако, учитывая события прошлой ночи, мы полагаем, что все три убийства связаны между собой.

Эйхерн упорно таращится в смартфон.

– Это может означать, что в вашем районе орудует маньяк.

Заявление встречено полным молчанием.

– Что бы кто из вас ни услышал, ни заметил – немедленно сообщайте в Восточный отдел, – говорит Нуэн. – Нам очень нужна ваша помощь.

* * *

Некоторое время после планерки сижу в машине, уставившись в мобильный телефон. Налетает внезапный вихрь, и дубы, окружающие парковку, начинают бешено жестикулировать. Вспоминаю: дуб – любимое дерево Томаса.

С тех самых пор, как мы нашли в Трекс тело молодой женщины, мне не дает покоя одна мысль. А именно: примерно тогда же пропала и Кейси. Правда, я ее толком не искала. Моя сестра частенько исчезает как раз на такой период; иногда потому, что лечится от наркозависимости. Но сейчас... сейчас это совпадение кажется мне зловещим. Помню, в раннем детстве, когда мама долго не появлялась дома, я испытывала ту же ноющую тревогу.

* * *

Вообще-то мы с Кейси не разговариваем. Уже пять лет. Правда, за этот период было несколько случаев (три, если точнее), когда мне по долгу службы приходилось говорить с сестрой – как представителю власти с

правонарушителем. Все три раза я держала эмоции в узде; арестовывала и отпускала Кейси с тем же холодным профессионализмом, какой демонстрирую любому жителю Кенсингтона. К чести сестры надо сказать, что и она не скандалила. Когда требовалось, я даже наручники на нее надевала (стараясь не причинить боли); я озвучивала, что конкретно вменяется ей в вину (домогательства плюс хранение наркотиков, один раз – с попыткой распространения). Я перечисляла Кейси ее права, я простирая над ее теменем ладонь, чтобы Кейси не ударилась, забираясь в полицейский фургон. Я закрывала дверцу возможно тише, я везла Кейси в участок, записывала ее данные, после чего мы обе сидели в камере друг против друга – сидели и молчали, избегая встречаться глазами.

Всякий раз со мной был Трумен. Он тоже неизменно молчал, только его озадаченный взгляд метался от меня к Кейси и обратно.

– Никогда не оказывался в такой дикой ситуации, – признался Трумен после первого раза.

Я не ответила, только плечами пожала. Конечно, всякий, кто не посвящен в подробности нашей с Кейси прошлой жизни и нашего молчаливого соглашения, счел бы ситуацию полной дичью. А мы в этом уже сколько времени варимся. Трумену я ничего не объясняла. Да и никому другому.

– Ты до сих пор ее отслеживаешь, – догадался мой напарник после второго раза.

Я промолчала, и он развил мысль:

– Если б не сестра, ты уже давно бросила бы патрульную службу. Выдержала бы экзамен, стала следователем... А ты ее пасешь.

Я сказала Трумену, что он ошибается. Что я люблю свой район; пекусь о благополучии людей; нахожу историю Кенсингтона крайне интересной. Что мне доставляет удовольствие наблюдать, как район меняется к лучшему. Наконец, патрульная служба заряжает меня адреналином. Некоторые жители Кенсингтона, заявила я тогда, действительно имеют проблемы, но для меня район стал чем-то вроде родственника – проблемного, но дорогого и милого сердцу. Которого не бросишь, потому что слишком много сил в него вложено.

– Сам-то ты почему экзамен не сдашь, а, Трумен? – спросила я.

Среди моих знакомых мало кто сравнится с ним по уму и хватке. Он давно мог бы пойти на повышение. Он мог бы перевестись в любой отдел, стоило ему только захотеть.

На мой вопрос Трумен ответил смехом.

– Пожалуй, причины те же, что и у тебя, – сказал он. – Привык, понимаешь, быть в курсе всего, что на районе происходит.

* * *

Прошло десять минут. Все еще гипнотизирую телефон. Вдруг понимаю, что осталась одна на стоянке. Упаси бог, выйдет Эйхерн и застучает меня, валяющую дурака, в то время как остальные патрульные давно разъехались. За последний год, с тех пор как я перебралась в Бенсалем[9 - Пригород Филадельфии с населением около 60 000 человек.], как променяла Томасов респектабельный садик на мутную Бетани, как лишилась надежного напарника, – моя продуктивность резко пошла на спад. О чем Эйхерн не устает напоминать.

Выруливаю с парковки. Направляюсь в заданный квартал.

Но сначала проеду по Кенсингтон-авеню и по Кэмбрия-стрит. Не найду Кейси, так хоть увижу Полу Мулрони.

* * *

Полы Мулрони нет на привычном месте; ее отсутствие сразу бросается в глаза. Но здесь же, на Полином углу, расположено заведение Алонзо. Заглядываю поздороваться, погладить кота Ромеро (Алонзо назвал его в честь бывшего питчера бейсбольной команды «Филадельфия Филлиз»). Раньше я всегда садилась лицом к окну, чтобы видеть Полу и Кейси.

Алонзо, конечно, отлично знает мою сестру. Кейси, как и я, у него постоянная покупательница; была таковой задолго до того, как мы перестали общаться. Вкусовые пристрастия Кейси не изменились с детства – она по-прежнему обожает ледяной чай и кремовые спондж-кейки, их и покупает. Только теперь к этому набору добавились сигареты. Случайно столкнувшись у Алонзо, мы с Кейси делаем вид, что незнакомы. Алонзо тогда на нас таращится. Его можно понять. Он в курсе, что Кейси – моя сестра, ведь я регулярно расспрашиваю его, как она выглядит и не заметил ли Алонзо чего подозрительного в ее внешности или поведении. Расспрашиваю не столько из беспокойства за сестру, сколько по долгу службы. Вдруг Кейси докучает Алонзо?

– Может, отвадить этих двоих от вашего заведения? – спрашиваю я. – Только намекните – и они сменят дислокацию.

Алонзо всегда отвечает: «Не надо»; «Кейси и Пола – постоянные покупатели»; «Они мне по душе»; «С ними никаких проблем».

Раньше я, бывало, зависала у Алонзо, тянула кофе, смотрела на Кейси и Полу – как они выставляют себя на продажу, а никто не берет, а им нужна доза, и они впадают в отчаяние и становятся все настырнее с мужчинами. Мужчин этих я тоже изучила. Теперь сразу понимаю, кто потенциальный клиент. Они, потенциальные, раскатывают по Кенсингтон-авеню, а сами косятся на женщин; заметив полицейский фургон, начинают смотреть строго на дорогу. Они разновозрастные, разношерстные – но в каждом есть что-то от волка, от подлого хищника. Однако фоторобот потенциального клиента я не смогла бы составить: на типаж накладывается слишком много индивидуальных особенностей. Мне случалось даже угадывать клиентов в мужчинах, которые везли на заднем сиденье собственных детей. Подонок может прикатить прямо с Мейн-лайн в шикарной «Ауди». Ему может быть под восемьдесят; а порой пикантных развлечений ищут компании подростков. Или гетеросексуальные пары желают разнообразить интимную жизнь. Несколько раз я видела одиноких женщин – они, случается, тоже снимают проститутку. По мне, такие женщины не лучше мужчин, хотя, пожалуй, Кейси и ее подруги идут с ними охотнее. Женщин они не так боятся.

Сильно постаравшись, я в состоянии проникнуться сочувствием почти к любой разновидности правонарушителей. Но только не к клиентам наркозависимых проституткок. Для них – никакой объективности. Проще говоря, я их ненавижу. Меня воротит от их спортивного вида, от их жадности до плотских утех, от

неспособности контролировать самые низменные инстинкты. Меня бесит частотность проявления их агрессии и гнусности. Наверное, офицер полиции не должен принимать все так близко к сердцу; наверное, мои чувства – показатель моей сомнительной профпригодности. Есть два типа платных сексуальных услуг. Первый – соглашение между двумя адекватными взрослыми особями. Второй – сделки, что заключаются на Аве. Сделки между клиентом и женщиной, которая находится в состоянии ломки, которой худо, которая за дозу готова на любые условия. По-моему, между этими типами сделок – пропасть; и мужчины, третирующие таких женщин, вызывают во мне бешеную ярость. При задержании я не смотрю им в глаза; я норовлю толкнуть их, побольнее стиснуть им запястья наручниками. Ничего не могу с собой поделать.

Тому, кто повидал с мое, нелегко сохранять объективность.

Однажды мы с Труменом наткнулись на рыжеволосую женщину лет пятидесяти с лишним; босая, она рыдала на крыльце. Лица не прятала – наоборот, запрокинула голову к солнцу. Глаза и рот были открыты, слезы лились рекой. Мы остановились, подошли к ней. По инициативе Трумена, кстати. Он в таких случаях проникался к жертвам. При нашем приближении женщина согнулась вдвое, закрылась руками. Из-за двери послышался голос:

– Она с вами говорить не хочет.

– Что с ней случилось? – спросил Трумен.

– По кругу пустили, – мрачно отозвались из-за двери.

Выйти к нам хозяйка дома не соизволила. Свет не зажгла. Мы поняли: имело место групповое изнасилование.

Невидимая свидетельница подтвердила нашу догадку и внесла уточнения:

– Вчетвером. Один ее в дом затащил, а там еще трое.

– Тише ты! Тише! – крикнула пострадавшая. Это были ее первые слова.

– Хотите написать заявление? – мягко предложил Трумен. С женщинами он всегда был очень деликатен. Порой справлялся гораздо лучше меня.

Но рыжеволосая снова закрылась руками. Больше она ни слова не произнесла, а рыдала так, что едва не задыхалась.

«Где ее обувь?» – думала я. Наверное, туфли были на высоких каблуках, и она сбросила их в надежде убежать. Вон какие грязные, обломанные ногти; вот как сбиты пальцы. По правой ступне текла кровь – должно быть, на стекло или на гвоздь напоролась, бедняжка.

– Мэм, – не сдавался Трумен, – вот, смотрите, я вам свой телефон оставляю. На случай, если передумаете насчет заявления.

Он сунул ей визитку.

Кварталом дальше, возле другой женщины, сбавила скорость другая машина.

* * *

Из окна в заведении Алонзо я не раз видела, как Кейси заключала сделки. Наклонялась к окну автомобиля, медленно катившего по Аве. На моих глазах автомобиль сворачивал в переулок, и туда же устремлялась моя сестра, исчезала за углом, где ждал пустырь или хибара, где с Кейси могло случиться все что угодно. «Она сама такую жизнь выбрала», – внушала я себе. И сейчас продолжаю внушать.

Нередко оказывалось, что я проводила у Алонзо десять-пятнадцать минут – ждала, когда появится из-за угла Кейси.

Алонзо никогда слова мне в упрек не сказал. Он деликатный: отходит в сторонку, пока я прихлебываю кофе из пластикового стаканчика.

Сегодня Алонзо занят с посетителем, и я привычно сажусь у окна. Из щели тянет холодом; зябну, терпеливо жду.

* * *

Вздрагиваю от звона трех серебряных колокольчиков, подвешенных над дверью. Посетитель вышел, Алонзо пока свободен.

Приближаюсь к прилавку, расплачиваюсь за кофе.

– Жаль, что с вашей сестрой так случилось, – выдает Алонзо.

– Как – так?

Алонзо молчит. Лицо у него вытягивается. Характерная гримаса человека, сообразившего, что проболтался.

– О чем вы, Алонзо?

Он качает головой.

– Да я толком не знаю. Может, недопонял чего. Или недослышал.

– Что конкретно вы недослышали и недопоняли?

Алонзо наклоняет голову набок, косится за окно, на угол, где обычно торчит Пола. Заметив, что Пола нет, продолжает:

– Наверное, пустяки какие-нибудь. Просто позавчера Пола сказала, что Кейси исчезла. Что ее уже месяц никто не видел, если не дольше. Что никто не знает, где она.

Киваю. Рот держу закрытым, плечи – расправленными. Ладони мои спокойно лежат на ремне, и вообще я просто воплощенная невозмутимость.

– Вот как, – говорю.

– Пола небось напутала, – юлит Алонзо. – Она в последнее время малость того... – Его лицо выражает сочувствие. Похоже, он готов сделать что-нибудь

катастрофическое – например, похлопать меня по плечу. Слава богу, не двигается с места. Он будто застыл. И я тоже.

– Вы правы, Алонзо. Пола определенно что-то напутала.

Тогда

Некоторые люди склонны видеть причину всех бед в собственном трудном детстве. Кейси как раз такая. Незадолго до того, как мы перестали общаться, она пришла к выводу: в ее проблемах виноваты отец с матерью, которых она лишилась слишком рано, а также Ба, которая никогда не любила Кейси, а пожалуй, даже испытывала к ней неприязнь.

Помню, я, услышав это откровение, на миг онемела, а потом заметила, что обстоятельства у нас были одинаковые.

Мое мнение: я стала тем, кем стала, потому что принимала правильные решения, а не полагалась на слепой случай. Наше детство, конечно, безоблачным не назовешь, но по крайней мере одна из нас вышла из него подготовленной к продуктивной жизни.

Но когда я это озвучила, Кейси закрыла лицо ладонями.

– Для тебя, Мики, все всегда было иначе. С самого начала.

Так она сказала, и я до сих пор не пойму, что имелось в виду.

Впрочем, если взвешивать шансы, если выяснять, у кого детство было труднее (в любом из смыслов), мои обстоятельства определенно перетянут.

Я говорю так потому, что помню маму – а Кейси не помнит. Причем воспоминания мои – светлые. Значит, мамину смерть я восприняла тяжелее. Кейси была слишком мала, чтобы уяснить всю глубину нашей потери.

* * *

Мама умерла молодой. В восемнадцать, учась в выпускном классе, она забеременела мною. А училась хорошо, и девочкой была примерной, по словам Ба. Только с нашим отцом и встречалась, других парней не знала. И вот, нате вам: несколько месяцев свиданий – и залет. От кого, от кого, а от Лизы такого не ожидали, повторяла Ба. Сама она, если ей верить, была потрясена больше всех. До сих пор Ба говорит об этом с горечью – острой, как в день, когда все открылось. Никто не верил, говорит Ба. Все только ахали. Только переспрашивали: «Лиза?! Да ладно!»

Религиозные убеждения Ба сразу исключили аборт. Но из-за этих же убеждений она приняла беременность дочери в штыки. Стыдилась сверх всякой меры. А год был 1984-й. Сама Ба вышла замуж в девятнадцать, родила в двадцать. «Тогда времена были другие» – вот и все ее объяснение. Наш дед умер рано – погиб в аварии. Пьяный ехал, как я сейчас догадываюсь. Ба вечно твердила, что дед любил заложить за воротник. Больше она замуж не вышла.

Одно время я задавалась вопросом: как бы все было, не погибни наш дед? Была бы бабушка другой? Ведь львиная доля ее усилий уходила на то, чтобы просто держаться на плаву: есть самой и кормить нас, платить за коммунальные услуги и выкарабкиваться из вечных долгов. Если б супруг вносил свою долю в денежном и эмоциональном эквиваленте, как знать, может, бабушке, да и нам с Кейси, жилось бы легче... Глупые, сентиментальные предположения, ибо по сей день Ба мужчин презирает – от них, мол, одни проблемы, и если б не продолжение рода, так хоть бы они и вовсе перевелись на свете. Подспудно Ба не доверяет ни одной особи мужского пола. Избегает их, насколько это возможно.

Краткое замужество дало бабушке единственный повод для гордости – право заявлять, что она забеременела, будучи мужней женой. «Мужней женой!» – повторяет Ба, тыча себя пальцем в грудь. То есть все у нее получилось по правилам.

Узнав, что дочь беременна, Ба настояла на браке, даром что лишь единожды видела «этого Дэниела Фитцпатрика»; именно так Ба говорила об отце, даже когда он исчез из наших жизней. Однако недостаток информации о будущем зяте не остановил Ба. Сначала она усадила юных грешников на диван и устроила им хорошую головомойку, а затем отправила в церковь, где те дали клятвы любви и верности. Дэниел Фитцпатрик сам рос без отца, с беспутной матерью – потаскухой, по убеждению Ба, также зачавшей вне брака. «Чего и удивляться», –

говорила Ба. «Яблочко от яблоньки», – говорила Ба. Хуже того: Дэниела Фитцпатрика содержала благотворительная организация. «Лучше б на трудящего человека денежки тратили», – ворчала Ба.

Что обо всем этом – о ребенке, о свадьбе и о самой Ба – думала мать Дэниела Фитцпатрика, неизвестно. Я ее совсем не помню. Она даже на мамины похороны не явилась, чем нанесла Ба смертельную обиду.

Если верить Ба – а верить приходится, ведь других источников нет, – Лиза и Дэниел тихо обвенчались в церкви Святого Спасителя в среду, ближе к вечеру. Свидетелями были сама Ба и дьякон. После свадьбы Дэниел стал жить в доме Ба. Молодым она уступила среднюю спальню; иногда ей даже удавалось содрать с них арендную плату. От остальных родственников Ба скрывала этот брак, сколько могла. Ходила с гордо поднятой головой. Глядела с вызовом.

Через пять месяцев родилась я. Через полтора года – Кейси.

А через четыре года мама умерла.

* * *

Если успокоиться, если собраться с мыслями – явятся воспоминания об этом кратком периоде. Увы, чем дальше, тем труднее их вызвать. Порой, колеся по району, я вижу себя маленькой, на заднем сиденье. Естественно, никаких детских кресел. Мама за рулем, что-то напевает. Если я оказываюсь возле холодильника, причем любого, стоящего где угодно, – мелькает другое видение: моя молоденькая мама жалуется Ба, что холодильник пуст. «Да неужто, – отзывается Ба из соседней комнаты. – Ну так положи туда чего-нибудь».

Более смутно помнится бассейн в чьем-то доме. Может, я всего раз там побывала. И фойе кинотеатра. Не знаю, какого именно. Сейчас все кинотеатры сместились в центр Филадельфии. Те, что остались, давно превращены в концертные площадки.

Я помню мамину юность. Мама сама была как ребенок, как ровня мне. Нежнокожая, с сияющими, легкими волосами, она даже бабушку заставляла оттаять. Ба рядом с мамой становилась спокойнее, не мерила, по обыкновению,

комнату быстрыми нервными шажками. Смеялась против воли, зажимала себе рот, головой трясла. «Малахольная ты, Лиза! – так она реагировала на очередную выходку дочери. – Дом в бедлам превратила». Взглядывала на меня, улыбалась с гордостью. В те дни она была добрее. Ее завораживало победоносное Лизино легкомыслие; она не догадывалась, какая судьба уготована ей, какая судьба уготована всем нам.

В тишине и темноте моей спальни являются, если очень постараться, еще более интимные воспоминания. Тут мне одной не обойтись, тут нужен Томас – лобастенький Томас, бодающий меня в подмышку, лежащий так близко, что можно вдыхать запах детского мыла. Лишь в такие мгновения приходит мама, склоняется над моей кроватью. Моя юная мама, по-девичьи хрупкая, с мягкими, неоформившимися чертами лица, в неизменной черной футболке с надписью, которую я не умею прочесть. Мамины руки, обнимающие меня. Мамино лицо – веки опущены, рот приоткрыт. Мамино дыхание, свежее, как у жеребенка или козленка, что питается одной травой. Мне четыре года; я глажу маму по щеке. «Привет!» – шепчет она, и целует меня, и бормочет что-то неразборчивое, сладкое, мне в темя, в ухо, в ямку под подбородком. И снова целует. И кусается в шутку. И повторяет снова и снова: «Малютка моя» – самую главную фразу. Дальнейшее требует напряжения всех душевных сил. Потому что это – мамин голос. Высокий, звонкий, счастливый, порой – с нотками изумления: как ее, Лизу О’Брайен, вообще угораздило родить?

* * *

Но я не помню ничего, совсем ничего, связанного с маминой наркозависимостью. Возможно, все плохое просто вытеснил инстинкт самосохранения. Возможно, об этом я не знала в силу возраста; не видела, не могла видеть, как наркотики разрушают мамино сознание, мамино тело. В моих воспоминаниях одно только хорошее, светлое – но тем они мучительнее.

Соответственно, я не помню ни маминой смерти, ни сообщения о ней. Память сохранила только бабушкину реакцию. Вот Ба мечется по дому, как львица по клетке; рвет на себе волосы и рубашку. Снимает телефонную трубку – и вдруг принимается методично колотить ею себя по лбу. Вцепляется зубами в собственное запястье, чтобы не вырвался из горла вопль. Еще помню, взрослые говорили шепотом. Меня и Кейси впихнули в платья из жесткой материи, натянули на нас колготки и застегнули на наших ножонках чересчур тесные

туфельки. Потом, подавленные, удрученные, все потащились в церковь. Ба почти упала на скамью. Еще: Ба дернула Кейси за руку, чтобы та не шумела. Помню отца. Он сидел рядом с нами в полной прострации. Потом сборище переместилось в бабушкин дом, словно пропитанный чувством стыда. Мы с Кейси были забыты. Нас не замечали. Не брали на руки. Не умывали. Не кормили. Я сама шарила в буфете и холодильнике. Ела и тащила еду для Кейси. Кормила ее с рук. В доме постоянно толклись взрослые. Я, маленькая, натыкалась на их колени, видела их ботинки, в лучшем случае – полы пиджаков и пальто, но не видела лиц. Шорох одежды. Никаких детей. Двоюродных сестер и братьев к нам не водили. Бесконечная зима. Пустота и горечь. Наполовину пустая бутылка содовой в холодильнике – содовую не допила мама. Поиски в родительской спальне (отец все еще жил у Ба). Обнаружение той самой черной футболки (она, как и постельное белье, пахла мамой). Помню, я нюхала даже мамины тапки. Ба, застукав меня за этим занятием, целый день выделила, чтобы постирать и вычистить мамины вещи. Тогда я стала осторожнее. В ящике комода нашлась мамина щетка для волос. Ее я тоже нюхала; снимала волосины, обматывала себе пальцы. Кончики пальцев становились пурпурными, а я все мотала, мотала – ту же, еще ту же...

С каждым годом воспоминания блекнут. Сейчас мне большого труда стоит вызвать какой-нибудь эпизод; убедившись, что он пока цел, я поскорее заталкиваю его обратно. Потому что свет воспоминаниям вреден. Они и так уже почти выцвели. А мне надо сохранить хоть что-нибудь для Томаса. И я дозирую эпизоды, длю их тающую сладость.

* * *

Когда мама умерла, Кейси было всего два года. Она еще подгузники носила (которые порой не меняли целыми сутками). Потерянная, одинокая сестра ковыляла по дому; рискуя свалиться, карабкалась на лестницу; надолго забивалась то в шкаф, то под кровать. Выдвигала ящики, полные опасных предметов. Наверное, ей хотелось попасть в поле зрения взрослых, этих великанов; часто я обнаруживала сестру на кухонном столе или на краешке ванной – замершую, словно птичка, одинокую, никому не нужную. У Кейси была тряпичная кукла по имени Маффин и две пустышки, которые отродясь никто не мыл. Эти сокровища Кейси тщательно прятала. Однажды обе пустышки пропали. Ба не стала покупать новые, и Кейси проревела несколько дней подряд. Сосала пальцы, отчаянными глотками втягивала в себя воздух.

Не по своей инициативе я начала опекать сестру. Просто увидела: больше никому дела до нее нет, вот и впряглась. В то время Кейси еще спала в колыбели, которая стояла в нашей общей комнате. Но очень быстро она выучилась выбираться наружу и делала это из ночи в ночь. С проворством, которого и не заподозришь в таком маленьком ребенке, моя сестра, словно паучок, выползала из колыбели и ложилась спать со мной. И так повелось, что именно я напоминала взрослым: надо сменить Кейси подгузник, надо переодеть ее в чистое. Именно я приучала сестру к горшку. Со всей серьезностью относилась к роли опекуни. С гордостью тащила это бремя.

Когда мы чуть подросли, Кейси каждый вечер просила: «Расскажи про маму!» И каждый вечер я, маленькая Шахерезада, напрягала память, чтобы выдать сестре новый эпизод, или же попросту сочиняла. «Помнишь, как мы с мамой ездили на море?» – спрашивала я, и Кейси поспешно кивала. «Помнишь, как мама купила нам мороженое? Помнишь, какие вкусные оладьи она пекла нам на завтрак? Помнишь, как она читала нам на ночь сказки?» (Все эти проявления родительской любви регулярно упоминались в детских книжках.) Я вычитывала их сама. Я лгала сестре. Кейси слушала, прикрыв глаза, словно кошка на солнце. Пеке.

С великим стыдом признаю: статус хранительницы семейной истории давал мне власть над сестрой, давал оружие сокрушительной силы, которое я применила всего один раз. Был вечер, мы поссорились, уже не помню из-за чего, Кейси на меня кричала – долго, надрывно. Устав от воплей, я совершила злодеяние, в котором тут же раскаялась. «Меня мама больше любила, чем тебя!» – выпалила я. По сей день это – моя самая чудовищная ложь. Я тотчас сама себя опровергла – но было поздно. Маленькое личико Кейси побагровело и сморщилось. Ротик открылся, словно для ответа. Но крыть сестре было нечем. И она разревелась. Завыла от непоправимого горя. Так могла бы быть взрослая женщина, знавшая боль, выдававшая виды. До сих пор этот вой свеж в моей памяти.

* * *

После похорон кто-то заикнулся: теперь, мол, отец нас заберет, увезет в другое место. Но у отца, похоже, не было ни денег, ни желания что-то менять, и мы, все трое, остались жить у Ба.

И зря.

Отец с самого начала не ладил с тещей; теперь же, когда мамы не стало, они только и делали, что скандалили. Обычно Ба напускалась на отца, кричала: «Ты когда за комнату платить будешь, голодранец?!» Кейси, в отличие от меня, этих сцен не помнит. Вскоре отец не выдержал – съехал. Мы остались на попечении бабушки. Она рвала и метала. Стоило Кейси набедокурить, заводила: «Будто не хватит на мой век соплей да бардака!» Никак не получалось встретиться с Ба взглядом. Она не смотрела прямо на нас – только вбок или повыше наших мордашек. Так смотрят на солнце. Сейчас я догадываюсь: потеря дочери, обожаемой до самозабвения, удерживала Ба от нежностей. В нас она видела подтверждение: мы смертны, как и Лиза; мы – бомбы замедленного действия, начиненные новой болью.

Нам с Кейси доставалась лишь малая часть бабушкиного раздражения. Самые сильные эмоции были направлены на нашего отца. К нему Ба питала ненависть разрушительную, как торнадо. Ненависть многократно усиливалась, когда отец пренебрегал своими родительскими обязанностями. Ежемесячно, не найдя в условленный день чек на наше содержание, Ба раздражалась привычным монологом: «Я, как его увидела, так сразу и раскусила, и говорю Лизе: мутный он, хахаль твой; таких-то мутных поискать!»

Еще одно откровение (правда, бабушка его не нам с Кейси озвучивала, а кому-то по телефону – но достаточно громко); так вот, Ба говорила: «Он ее на это дерьмо подсадил. Сгубил мне девку».

Когда мама умерла, «этот Дэниел Фитцпатрик» умалился до местоимения. Стал единственным, к кому подходило местоимение «он», если не считать пары-тройки дядьев да Господа Бога. Других лиц мужского пола в нашей жизни не было. При встречах мы называли его папой. Сейчас это кажется нелепым, не верится, что слово «папа» слетало с моих губ. Но даже и в те времена странно было произносить «папа» после очередной долгой разлуки. Отец сам так себя называл, говорил Ба: «Я – их папа». А Ба отвечала: «Значит, веди себя, как папы ведут».

В итоге он исчез с концами. На целое десятилетие. А когда мне уже сравнялось двадцать, кто-то из его приятелей сообщил, что Дэниел Фитцпатрик умер. Как? Да так же, как все мрут на северо-востоке Филадельфии. Так же, как умерла Кейси – в первый раз. И во второй. И в третий.

Тот отцовский приятель думал, я уже в курсе; моя реакция стала для него неожиданностью.

А вот о маме Ба почти не говорила. Иногда я заставляла ее глядящей на мамино фото – старое школьное фото, где маленькая Лиза О’Брайен улыбается беззубой улыбкой. Только оно и осталось от мамы – единственное свидетельство, что Лиза О’Брайен бегала по этому дому. Фото цело до сих пор. Висит на стене в гостиной. Мамино изображение пережило ее саму; но, может, знай мама, как по ней будут тосковать, она бы здесь задержалась.

Еще, очень редко и только по ночам, я слышала бабушкин плач – нечеловеческий вой, приглушенный подушкой, или детские всхлипы. И то, и другое говорило о неизбывном горе. Но в дневное время Ба держалась. Молчала. Только иногда бросит: «Она сама виновата; сама в это дерьмо влезла. Вы, обе, – глядите, тоже не вляпайтесь».

* * *

Так мы росли – без отца и без матери.

Когда мама умерла, бабушка была еще сравнительно молода – ей только исполнилось сорок два. Нам она казалась гораздо старше. Она постоянно работала. Как правило, в нескольких местах. Зимой в доме властвовал невыносимый холод. Батареи были отрегулированы на 55 градусов[10 - 55 градусов по Фаренгейту соответствуют 12,5 градуса по Цельсию.]; если б не риск, что трубы лопнут от мороза, Ба, пожалуй, и вовсе отключала бы отопление. Мы ходили в куртках и шапках. Если жаловались, Ба кричала: «Вы, что ли, будете по счетам платить?» В ее отсутствие активизировались призраки – дом принадлежал семье с 1923 года, когда дедушка Ба, ирландец, купил его. Сама Ба унаследовала дом от своего отца. Двухэтажный таунхаус, тесный, без архитектурных излишеств; на втором этаже, в ряд, вдоль коридора, три крошечные спальни, на первом, тоже в ряд, изолированные друг от друга гостиная, столовая и кухня. Входя в любую из комнат, мы запинаясь о низкий порожек – как о напоминание о строгих рамках.

Мы бродили по дому – туда-сюда, от парадной двери до черного хода, или по коридору второго этажа – всегда предсказуемо вместе, где одна, там и другая. Ба придумала для нас две клички – МикКейси и КейМики. Неразлучные, мы были

нелепы в паре; я – долговязая, темноволосая худышка и Кейси – беленькая, крепенькая, как гриб-шампиньон. Мы вели переписку; наши рюкзаки и карманы были полны измаранных вдоль и поперек бумажек.

Потом мы обнаружили, что в углу спальни ковролин отходит от плинтуса, и устроили там, под ковролином, под неплотно закрепленной половицей, настоящий тайник. Оставляли друг другу записки, рисунки, бесценные мелочи. В деталях планировали жизнь, которая начнется для нас, как только мы покинем бабушкин дом. Я мечтала поступить в колледж, получить полезную специальность, найти работу с приличной зарплатой. Потом выйти замуж, родить детей и осесть где-нибудь, где всегда тепло. Но сначала, конечно, посмотреть мир. Кейси, напротив, одолевала фантазии. То она хотела играть в ансамбле, даром что отродясь музыкального инструмента в руках не держала. То мечтала об актерской карьере. То воображала себя шеф-поваром. Иногда – моделью. Порой тоже говорила: «Поступлю в колледж»; но на мой вопрос, в какой именно, начинала перечислять учебные заведения, заведомо недоступные для нас обеих. Те, которые упоминали в телепрограммах. Те, в которых учатся дети богатых родителей. Я не считала себя вправе развеивать иллюзии сестры. Хотя, наверное, следовало бы.

Я заботилась о Кейси, как любящая, но неопытная мать; я безуспешно пыталась оградить ее от опасностей. А Кейси была мне подружкой, и в этом статусе всё толкала меня к своим приятелям, всё социализировала.

Но по вечерам, в нашей общей постели, мы становились самими собой – сестрами-сиротами; мы цеплялись друг за друга, елозили головами, темной и светлой, сбивали в общий колтун распущенные волосы и шепотом перечисляли школьные несправедливости, постигшие нас за день.

Уже будучи подростками, мы продолжали спать вместе, хотя был момент, когда каждой из нас могло достаться по комнате. Но нам тогда и в головы не пришло разделиться. Среднюю спальню – «мамину комнату» – ни я, ни Кейси не рискнули бы занять – она была чем-то вроде музея, в ней жила память о маме. Правда, Ба периодически пускала туда на постой какого-нибудь родственника, согласного платить ежемесячно несколько сотен долларов. А потом ей вздумалось демонтировать кондиционер у себя в спальне, и окно заклинило в открытом состоянии. Ба не стала тратить на слесаря – она забила окно тряпьем и фанерками, заперла дверь, проклеила щели скотчем и перебралась в среднюю спальню. Скотч, однако, плохо помогал против декабрьских

сквозняков; ту зиму мы перемещались по дому, завернувшись в одеяла, словно в тоги.

* * *

Бабушку вечно мучила проблема: с кем нас оставить? В «Ганovere» продленки не было, и Ба выкручивалась как могла.

Однажды она прознала о программе Полицейской атлетической лиги. Ходить было недалеко и бесплатно, и Ба нас туда записала.

В двух просторных, с эхом, комнатах, к которым прилагался стадион, мы играли в американский футбол, волейбол и баскетбол. Опекала нас офицер Роза Залески, высокая женщина, явно сама в прошлом и футболистка, и волейболистка, и баскетболистка. Еще нам регулярно рассказывали о пользе школьных занятий и вреде алкоголя и наркотиков. (Об этом мы слышали из уст «завязавших»; наставления сопровождались устрашающими фото и заканчивались лимонадом и печеньем.)

Офицеры Лиги сочетали в себе строгость с отзывчивостью и вдобавок умели увлечь детей. Прежде мы с Кейси знали совсем других взрослых; при них от нас только и требовалось, что «вести себя прилично». Офицеры Лиги приятно контрастировали с этими взрослыми. Выбрав себе наставника, а точнее – кумира, ребенок ходил за ним по пятам, во всем подражая ему. Таким образом, у каждого офицера быстро формировался свой отряд; со стороны наставник и воспитанники больше походили на утиное семейство. Кейси боготворила вечно замороченную Олмуд, миниатюрную женщину с буйным чувством юмора. Офицер Олмуд, не стесняясь, выражала недовольство «недоделанным миром, полным недоделков» и трунила над «кучкой придурков» – так она называла своих подопечных, почему-то провоцируя их истерический хохот. Кейси мигом «слизнула» у Олмуд и походку, и интонации, и вообще все повадки. Пыталась она и выражаться афоризмами, как Олмуд, причем при бабушке. Правда, та живо пресекла эти попытки.

Мой кумир не привлекал к себе столько внимания.

Офицер Клир поступил в Лигу совсем молодым. Ему было всего двадцать семь лет. Но мне эти двадцать семь казались глубокой зрелостью, предполагающей развитое чувство ответственности. У офицера Клира был маленький сынишка, о котором тот с восторгом рассказывал; но обручального кольца он не носил, ни о жене, ни о подруге не упоминал. Устроившись в уголке просторной, как кафетерий, комнаты, где мы делали домашнее задание, офицер Клир утыкался в книгу. Время от времени он поднимал взгляд над страницей, озирался – не шалим ли? не отвлекаемся ли? – и снова возвращался к чтению. Длинные голенастые ноги у него, вероятно, затекали, и он их то вытягивал, то закидывал одну на другую. Довольно часто Клир вставал и обходил нас по одному, склонялся над каждым, спрашивал, что задали и все ли получается, и указывал на ошибки. Он был строже всех офицеров в Лиге. Не хохмил с детьми, как другие. Лицо его почти постоянно выражало задумчивость. Кейси офицера Клира на? дух не выносила.

Зато я жизни без него не мыслила. Офицер Клир внимательно выслушивал каждого, кто бы к нему ни обратился; глядел в глаза и чуть кивал – дескать, понимаю, всё понимаю. И вдобавок он был красивый. Черные волосы зачесывал назад, ба?чки носил самую чуточку длиннее, чем, наверное, полагалось по уставу (в 1997 году бачки были в тренде). Сдвигал темные брови, если какой-либо пассаж в книге казался ему особенно интересным. Плюс высокий рост, широкие плечи и легкий налет старомодности – словно Клир шагнул в эту казенную комнату прямо с экрана, прямо из фильма тридцатых-сороковых годов. Да еще учтивость. Однажды Клир придержал для меня дверь и, пока я стояла, совершенно опешившая, принялся нахваливать мою прилежность в занятиях, называя ее «редкостным даром». Поскольку я не двигалась с места, он простер вперед руку – мол, после вас – и чуть нагнул голову в галантном поклоне. Я была потрясена. С тех пор каждый день я занимала место всё ближе к офицеру Клиру, и вскоре нас разделял лишь узкий проход между столами. Сама я с Клиром никогда не заговаривала – только еще тщательнее и внимательнее делала домашние задания в надежде, что Клир заметит и при всех похвалит мое усердие.

Наконец надежда оправдалась.

В тот день офицер Клир учил нас играть в шахматы. Мне сравнялось четырнадцать. Я пребывала в фазе максимальной закомплексованности. Рта почти не раскрывала; мучилась из-за прыщей, из-за нечистых волос и тела (на водопроводной воде, как и на отоплении, Ба тоже сэкономила); стеснялась

обносков (в благотворительном магазине Ба вечно доставались вещи либо на два размера больше, либо на два размера меньше, чем надо).

Но, страдая по поводу внешнего вида, я чрезвычайно гордилась своим умом. Мне нравилось воображать ум великолепным драконом, спящим на куче сокровищ, охраняющим эти мои тайные сокровища от всех, в первую очередь – от Ба. На них я уповала, ибо верила: однажды они спасут нас обеих – меня и Кейси.

В тот день, невероятным умственным усилием, проявив чудеса сосредоточенности, я обыграла почти всю нашу группу. Нас, полуфиналистов, осталось четверо. Все взгляды были устремлены к нам, а взгляд Клира я ощущала на физическом уровне, хотя сам офицер стоял где-то сзади, невидимый мне. Сутулой спиной, торчащими лопатками я чувствовала: вот он, здесь, совсем рядом – высокий, широкоплечий, прочный, как скала. Вот он затаил дыхание. Вот выдохнул. Вот снова затаил.

Я вышла в финал.

– Отличная работа, – прокомментировал офицер Клир, и я расправила плечи и тут же снова их ссутулила. Всё это молча.

И вот решающая игра – с мальчиком старше меня, «сделавшим» половину отряда. Он, тот мальчик, уже несколько лет серьезно занимался шахматами. Он и меня вмиг «сделал».

Ребята расходились по домам, но офицер Клир медлил. В итоге мы остались наедине – он, высокий, сильный, оперевший руки в бока, и я – выдохшаяся после матчей, пунцовая под его взглядом, не смеющая поднять глаз.

Офицер Клир медленно протянул руку, взял моего поверженного короля, сделал им правильный ход. Затем опустился на колени передо мной, сидевшей за столом, и тихо спросил:

– А раньше ты в шахматы играла, Микаэла?

Он всегда называл меня Микаэлой, и я это ценила особо. Кличка «Мики», придуманная бабушкой, меня коробила; тем неприятнее было, что ее

подхватили все – и родня, и одноклассники, и учителя. Кстати, мама тоже использовала мое полное имя; по крайней мере, мне так помнится.

Я покачала головой – дескать, нет. Говорить я просто не могла.

Офицер Клир кивнул. И произнес:

– Я очень, очень впечатлен.

* * *

И начал учить меня шахматам. Каждый день он уделял двадцать минут мне одной. Показывал, как открыть игру гамбитом, объяснял, какие еще бывают стратегии.

– Ты чрезвычайно способная, Микаэла, – говорил офицер Клир. – А как у тебя в школе?

Я пожимала плечами. Краснела. При нем я всегда была красная, кажется, не только лицом, но и всем телом. Кровь пульсировала во мне бурно, выбивала в висках: «Я – живая! Живая!»

– Н-нормально, – мямлила я.

– Значит, стремись, чтобы было отлично, – напутствовал офицер Клир.

Он поведал мне, что азы шахмат ему преподавал отец – тоже полицейский. К сожалению, добавил офицер Клир, отец умер молодым.

– Мне было восемь, – сказал он, в раздумье беря и снова ставя пешку.

Я быстро взглянула на него и снова уставилась на клетки шахматной доски. «Значит, и он через это прошел», – мелькнуло в голове.

Офицер Клир носил мне из дому книги. Сначала это были детективы – как основанные на реальных событиях, так и полностью вымышленные.

Нравившиеся его отцу. «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте, «Убойный отдел» Дэвида Саймона. Весь Чандлер, вся Агата Кристи, весь Дэшил Хэммет. Офицер Клир рассказывал о фильмах. Любимым фильмом у него был «Серпико»; еще он хвалил «Крестного отца» («Считается, что лучшая часть трилогии – вторая; а на самом деле лучшая – первая», – доверительно сообщил мне офицер Клир). Были упомянуты также «Славные парни» Скорсезе и несколько более старых фильмов. Особо отмечены – «Мальтийский сокол» («Даже лучше книги!»), «Касабланка» и все триллеры Хичкока.

Ни одна книга, ни один фильм из рекомендованных офицером Клиром не остались не прочитанными или не просмотренными мной. «Тяжелые времена в отеле “Эль Рояль”» я даже переписала себе на диск. Я покупала диски любимых групп Клира – «Флоггинг Молли» и «Дропик Мёрфиз». Клир сказал, что группы – ирландские, и я ожидала напевности скрипок и завораживающего звона ударных. К моему неприятному удивлению, из колонок раздались хриплые мужские вопли и агрессивное дребезжание гитар. И все-таки я допоздна слушала эти записи на плеере, или же скользила лучом карманного фонарика по страницам, которых касался офицер Клир, или в гостиной, на диване, просматривала классику детективного жанра, столь милую его сердцу.

– Понравилось тебе, Микаэла? – неизменно спрашивал офицер Клир, а я отвечала: «Очень понравилось», даже если это было совсем не так.

* * *

Офицер Клир мечтал о карьере следователя. Часто говорил: «Обязательно займусь этим вопросом, вот только сынишка подрастет». Пока ребенок был мал, Клиру больше подходила служба в Лиге – без ночных дежурств и срочных выездов. Несколько раз он приводил сына, мальчика лет четырех-пяти, на занятия. Звали его Габриэль, он был вылитый отец – темненький, худощавый. Голенастые лодыжки торчали из слишком коротких брючек. При первом знакомстве офицер Клир, явно гордясь Габриэлем, пронес его на руках по всей комнате. Я жутко взревновала. Не знаю, чего я хотела. Чувствовала только, что ревную одновременно и к отцу, и к сыну.

Наконец Клир остановился рядом со мной.

– А это, сынок, Микаэла. Мы с ней лучшие друзья.

Вся трепеща, я подняла взгляд. Еще много дней эта фраза отзывалась во мне, грела, нежила: «Лучшие друзья. Мы с ней – лучшие друзья».

* * *

Увы, примерно в тот же период у Кейси начались серьезные проблемы. Сейчас мне кажется, виной всему – моя невнимательность к сестре. До того, как в мою жизнь вошел офицер Клир, я была безраздельно предана Кейси. Делала с ней домашние задания, давала советы в поведенческих аспектах (если, конечно, сама что-то в них смыслила), улаживала конфликты с бабушкой, по утрам заплетала Кейси косы, с вечера готовила ей бутерброд в школу. Кейси в ответ открывалась мне; я была в курсе ее маленьких тайн, ее школьных обид. Я одна знала, сколь глубокая, сколь неизбывная тоска порой наваливается на мою сестру и сколь тяжело Кейси выплывать из этой тоски. Но, размышляв об офицере Клире, я отдалилась от сестры. Мои мысли, мои желания, мое томление – все принадлежало ему. Для Кейси ничего не осталось.

В результате она покатила по наклонной плоскости. В тринадцать уже регулярно сбегала с занятий в Лиге. Всякий раз после звонка из Лиги Ба пыталась наказать Кейси, но успехом такие попытки увенчивались крайне редко – Кейси сбегала и от Ба тоже. А потом проступков накопилось такое количество, что Ба как-то неуверенно выдала: «Она уже большая, а я ей не сторож» – и махнула рукой. Мне было пятнадцать. Заодно уж Ба перестала контролировать и меня. Охота мне заниматься в Лиге – на здоровье; а лучше б работу нашла – так она рассуждала. Но я выбрала не работу, а практику всё в той же Лиге. Стала вожатой у младших детей.

Выбор мой был продиктован в основном желанием находиться поближе к Клиру. Но я ни единой живой душе в этом не призналась бы.

Кейси после школы стала зависать в компании, где верховодила Пола Мулрони. Конечно, о домашних заданиях теперь и речи не шло. Новые приятели моей сестры одевались во всё черное, курили, красили волосы и слушали группы вроде «Грин дэй» и «Самфинг корпорейт». Я подобную музыку не выносила физически – а вынуждена была терпеть. Кейси, пользуясь любой отлучкой бабушки и игнорируя то обстоятельство, что я занимаюсь, включала плеер на полную мощность. Помимо сигарет, она стала курить и марихуану. Небольшой

запас и того и другого держала под ковролином. Изгадила наш детский тайник.

Словно пощечину мне влепила.

Отчетливо помню, как впервые обнаружила в нашем тайнике «колеса». Их было штук шесть, маленьких, голубого цвета; они лежали в миниатюрном пакетике. Как ни странно, взяв пакетик двумя пальцами, я испытала чувство облегчения – потому что таблетки казались произведенными на фабрике, а не в чьей-нибудь кухне. Каждая даже имела отметинки – с одного боку аккуратные буквы, с другого – цифирки. Не фальсификат, значит. Кейси меня дополнительно успокоила. Сказала, что таблетки – вроде «Тайленола»[11 - «Тайленол» – американское торговое название жаропонижающего препарата, который по всему миру известен как парацетамол.] с усиленной формулой. Совсем невредные. Отцу Альби – это парень один – таблетки врач выписал; не выпишет же врач плохого? Это обезболивающее, потому что ведь у нас на районе где отцы вкалывают? Известно: на стройках или в порту грузчиками. Работа тяжелая, кости ноют, мышцы сводит. На дворе был 2000 год. Четырехлетним малышам сплошь и рядом прописывали «Оксиконтин»[12 - «Оксиконтин» – сильнодействующее обезболивающее средство для онкобольных.] – и родители малышей покупали его без задней мысли. Еще спасибо за рецепт говорили. Считалось, что «Оксиконтин», в отличие от опиоидов предыдущего поколения, не вызывает такого привыкания; вот никто и не опасался. «Тебе-то они зачем?» – спросила я Кейси. «Так просто. Прикольно же» – был ответ.

Кейси не сказала, что они с приятелями эти таблетки крошат, а порошок нюхают.

А вскоре она и вовсе пошла по рукам. О том, что моя сестра спит с парнями, я узнала случайно. Услышала, как десятиклассник хвалился своим приятелям – дала, мол, младшая Фитцпатрик. Я спросила Кейси напрямую. Она только плечами пожала – ну да, было дело; чего колыхаешься-то?

Я на тот момент еще даже ни разу не целовалась.

Пропать между нами росла. Без Кейси мое всегдашнее одиночество как-то выпячивалось, словно лишняя рука или нога; оно дребезжало в ушах; оно волочилось следом, как консервная банка, привязанная к кошачьему хвосту. Я тосковала по Кейси. В доме ее отсутствие ощущалось физически. Вдобавок

некому стало меня социализировать. Я больше не могла ходить на вечеринки – меня там не ждали; за ланчем в школе я сидела в полном одиночестве. Сестра умела меня «преподнести»; когда мы оказывались в компании, выдавала: «С нашей Мики не соскучишься; сейчас идем, а она говорит...» Далее следовала какая-нибудь шутка, придуманная самой Кейси. Так было до Клира. Отныне, если мы пересекались в школе, сестра только кивала мне. Но и это происходило все реже – Кейси прогуливала школу.

Несколько раз я, затолкав подальше гордость, оставляла сестре записки в нашем старом тайнике.

Ответов я не получила. Ни одного.

* * *

В те дни сестра удостаивала меня вниманием, только если я заводила речь об офицере Клире.

Кейси его терпеть не могла.

«Много о себе воображает», – говорила она. Порой называла офицера Клира пижоном. Но даже тогда я понимала: неприязнь сестры к Клиру гораздо глубже, Кейси чувствует в нем нечто гадкое и темное, то, чего не может – или не желает – выразить словами.

«Ну-ну», – хмыкала она, стоило мне упомянуть Клира либо сослаться на его мнение; я же львиную долю своих высказываний начинала фразой «офицер Клир считает». Кейси и Ба пародировали меня столь безжалостно, что я окончательно замкнулась в себе. Моя одержимость Клиром, по иронии судьбы, поменяла нас с сестрой ролями. Теперь Кейси беспокоилась обо мне, а не наоборот.

* * *

Именно к Клиру я обратилась за поддержкой и советом после первой передозировки шестнадцатилетней Кейси.

Было лето. Мое последнее школьное лето перед выпускным классом. Мне исполнилось семнадцать; мы с офицером Клиром очень сблизились. Говорили теперь не только о книгах, фильмах и музыке; Клир стал моим советчиком и моей опорой в самых разных вопросах. Я была в курсе его детских и подростковых проблем; он делился со мной и взрослыми переживаниями, такими как разногласия с коллегами и проблемы в семье. Мать, с болью сообщил офицер Клир, после смерти отца пристрастилась к алкоголю, а недавно, пьяная, упала и сломала шейку бедра. Сестра, пожаловался он, во всё сует свой нос; просто не продохнуть от ее заботы. Я слушала и кивала, но комментариев не делала. О своей семье не распространялась. Предпочитала слушать, а не говорить. Офицер Клир, в отличие от Ба, ценил мою серьезность – по крайней мере, так мне казалось. И не уставал нахваливать меня: я и умная, и наблюдательная, и вдумчивая, и сообразительная на удивление.

В Лиге я была уже не практиканткой, а консультантом по организации летних программ, и за работу мне платили. Я чувствовала себя почти ровней офицеру Клиру. Я сопровождала детей на занятия, придумывала для них развлечения, с грехом пополам учила играть в спортивные игры, в которые никогда не играла сама. И каждую удобную минуту использовала, чтобы поговорить со своим кумиром.

Передозировка сестры повергла меня в шок. Как тень, я бродила по зданию Лиги – в лице ни кровинки, в голове сумбур. Зачем я здесь? Может, мне надо скорее домой, к Кейси? Ба устроила ей разнос; и потом, ей ведь реально плохо!

С такими мыслями я наконец вошла в самую просторную комнату. Меня била дрожь, я обхватила себя руками за плечи. И вдруг заметила: из-за рядов пластиковых, как в кафетерии, столиков, из своего любимого угла, на меня смотрит офицер Клир. В тот день дети особенно плохо себя вели, вот их и засадили за чтение и рисование. В комнате висела напряженная, вымученная тишина.

Офицер Клир поднялся и медленно пошел ко мне. Дети, радуясь поводу отвлечься, завертели головами, но Клир строго глянул на них и одним кивком велел продолжать занятия.

Приблизившись, он весь подался ко мне, приготовился выслушать. Смотрел на меня, нахмутив свои красивые брови – весь внимание.

– Что случилось, Микаэла? – спросил он. Нежность в его тоне потрясла меня.

Вероятно, от нее, от этой нежности, глаза наполнились слезами. Никогда прежде никто с такой неподдельной любовью не спрашивал меня, что случилось. Во всю мою жизнь ни один взрослый не проявил столько озабоченности моим состоянием. И во мне что-то открылось – некий шлюз, который потом попробуй закрой. Отчетливо мелькнуло видение – мамины нежные руки на моих щеках.

– Не надо плакать, – сказал офицер Клир.

Я потупилась. Две горячие слезищи скатились по скулам, и я их отерла – поспешно и яростно. Я вообще редко плакала, при взрослых всегда сдерживалась. Ба отучила от слез. Бывало, раскапризничаемся с Кейси, расхнычемся, а она говорит: «Не перестанете реветь без причины – уж я вам причину-то обеспечу». И действительно, обеспечивала – до тех пор, пока мы не переросли ее, мелкую и ледащенькую.

– Иди во двор, – еле слышно шепнул офицер Клир. – Жди, я сейчас.

* * *

В тот день было 90 градусов[13 - Соответствует 32 градусам по шкале Цельсия.] в тени. Нормальный филадельфийский июль. Я выскочила к баскетбольной площадке с шаткими скамейками для зрителей. За площадкой тянулось футбольное поле – давно пожухлое, вытопанное. Окрестные улицы как вымерли. Ни прохожих, ни зевак. На зады Лиги даже ни одно окно не выходило. Надо мной вяло жужжали мухи; еще более вяло я от них отмахивалась.

Прислонилась к кирпичной стене, козырек над которой создавал нечто похожее на тень. Сердце стучало где-то в животе – от страха за сестру или по другой причине, я не знала.

Я думала о Кейси. «Скорая» привезла ее в Епископальную больницу. Всю дорогу между нами висело молчание. Когда Кейси положили на койку, я сказала: «Как ты могла, просто не понимаю». А она процедила: «Где уж тебе понять». И всё. Поговорили, называется. Но вид у Кейси был, как будто ей худо – глаза закрыты,

щеки с прозеленью. Вдруг дверь палаты распахнулась, и ворвалась Ба – лицо серое, застывшее, руки сцеплены. Ощущение, что их и не расцепишь. Ба – маленького росточка, тощая; о таких говорят: «В чем душа держится?» Нервически подвижная, минуты спокойно не постоит, тем более не посидит. А вот же – застыла у койки, окаменела. Только губами чуть шевелила, шипя с ненавистью:

– Глаза-то открывай. На меня смотри. Открывай и смотри, говорю!

Кейси повиновалась, хоть и не сразу. Она долго щурилась, отворачивала лицо от флуоресцентного света, что бил с потолка.

Ба ждала. Она заговорила, лишь когда взгляд Кейси сфокусировался на ней.

– Слушай сюда. Мне вот этого вот с твоей матерью хватило. А ты, – Ба нацелила на Кейси указательный палец, – ты кровь мою сосать не будешь.

Затем Ба схватила Кейси за локоть и потащила с койки. Игла капельницы выскочила, трубочка повисла, закачавшись. Ба повлекла Кейси прочь из палаты; мне ничего не оставалось, как только бежать следом. Медсестра закричала:

– Куда?! Ей нужен постельный режим!!!

Ни одна из нас не отреагировала.

Дома Ба отвесила Кейси тяжелую оплеуху. Моя сестра бросилась в спальню и заперлась изнутри.

Через некоторое время я подошла к дверям. Я звала сестру по имени. Ответа не было.

* * *

Кирпичная стена до того раскалилась, что жгла сквозь одежду. Иначе говоря, опора и поддержка из нее была никакая. Я стояла спиной к двери. Раздался тихий хлопок, затем еще один: дверь открыли и снова закрыли. Я не

поворачивала головы. Воздух набух влагой. Пот струился у меня по бокам, мочил рубашку. Я смотрела прямо перед собой. Знала: офицер Клир подходит. Сзади. Вот остановился. Наверное, думает, что дальше делать. Дышит. Я слышу, как он дышит. И вдруг его руки обхватили меня всю. Я рано выросла. Была этакой жердью. В школе почти никто из мальчишек не мог смотреть на меня сверху вниз. Офицер Клир – мог. Он сомкнул объятие, и мой затылок оказался у него под подбородком – вот насколько Клир был выше.

Я закрыла глаза. Спиной чувствовала биение его сердца. Когда умерла мама, меня стал преследовать один и тот же сон. Будто некто, лишенный лица, баюкает меня, мерно и уверенно качает, подхватив одной рукой под спину, другой – под колени, сцепив пальцы в замок. Уже давно этот сон не возвращался, но чувства, которые я испытывала при пробуждении, помнились отчетливо. Я просыпалась утешенной. Умиротворенной. Любимой.

В тот день меня укачивал Саймон Клир. Я открыла глаза и подумала: «Вот оно, сбылось».

– Что случилось? – снова спросил Саймон.

И я все ему рассказала.

Сейчас

С сожалением признаю?: мне стоит немалых усилий взять себя в руки после разговора с Алонзо. Десять минут сижу за рулем без движения; наконец завожу мотор. Людей, что толкутся на тротуаре, вижу будто сквозь туманную муть. В каждой женщине мерещится Кейси; подъехав ближе, убеждаюсь – обозналась, ничего общего с моей сестрой у этой женщины нет. И у этой. И вон у той. Несмотря на промозглую погоду, опускаю оконное стекло. Пусть щеки и лоб обвеет ветром.

Из диспетчерской один за другим поступают звонки, но я медлю, не мчусь по вызову, как обычно.

Вдруг, спохватившись – я же на работе! – резко газую, обгоняю какой-то седан. Задаюсь вопросом: будь я следователем, что предприняла бы? Как стала бы искать пропавшую женщину?

В нерешительности касаюсь экрана, встроенного в приборную панель. Гаджет вроде ноутбука. В компьютерах я – дока, но эти конкретные системы крайне неудачные – всё время ломаются. Сегодня система работает; правда, подвисает.

Впервые за несколько лет ищу Кейси в базе данных.

Делать этого мне не следует; предполагается, что без веской причины ни один полицейский в этой базе никого не ищет. При входе я зарегистрировалась – значит, мои данные обнаружит любой желающий. В другое время я бы так не светила, но сегодня у меня устойчивое ощущение, что мои данные никого не интересуют, что никто не займется поисками. У патрульных нашего района просто времени нет.

И все-таки сердце мое скачет, пока пальцы выбивают на клавиатуре: «Фитцпатрик, Кейси Мэри, д. р. 16 марта 1986».

Вылезает досье арестов длиной в милю. Первый арест имел место тринадцать лет назад, когда Кейси было восемнадцать. Пребывание в состоянии опьянения в общественном месте. По сравнению с прочими поводами для ареста этот кажется пустячным.

Лиха беда начало. Аресты с того дня следовали вереницей, обвинения были всё серьезнее. Хранение наркотических веществ. Нападение на человека (сожителя, который регулярно колотил Кейси, но не замедлил вызвать полицию, когда, единственный раз, она попробовала дать сдачи). Далее: домогательства; домогательства; домогательства. Последний арест случился полтора года назад. Мелкое воровство. Кейси за него месяц отсидела. Это было ее третье по счету тюремное заключение.

Однако в досье нет информации, которая единственная меня сейчас интересует, которую я так надеялась обнаружить. Нет сведений, что Кейси в данный момент находится в тюрьме – а значит, и среди живых.

В такой ситуации самый естественный следующий шаг – опросить родственников пропавшей. Чем скорей, тем лучше. Я же тискаю телефон, мешкаю – меня тошнит. Как всегда, когда нужно войти в контакт с О’Брайенами.

* * *

Если в двух словах, то вот оно, объяснение: родственники недолюбливают меня, а я недолюбливаю их. С детства я как паршивая овца; впрочем, такое же чувство постигло бы на моем месте любого человека, замотивированного на продуктивную жизнь. Едва ли в нормальной семье тяга ребенка к хорошим отметкам, страсть к чтению, рано принятое решение служить в правоохранительных органах вызовет подозрительность. Не таковы О’Брайены. Вот почему я оберегаю от них Томаса. Не хочу, чтобы он стал изгоем; еще хуже, если он хоть в чем-то уподобится О’Брайенам, которые, помимо вовлеченности в мелкую преступность, имеют целый букет предубеждений, в том числе расовых. Когда Томас родился, я решила оградить его от мутной о’брайеновской этики. Не то чтобы я бойкотирую родню; нет, один-два раза в год мы видимся в доме Ба, иногда сталкиваемся на улице или в магазине; в таких случаях я проявляю вежливость и даже сердечность. Но в остальное время избегаю родственников.

Томас пока не понимает, в чем дело. Не хочу ни пугать его, ни забивать ему голову информацией, для которой он не дорос. Версия для сына – всему виной моя загруженность на работе, мой неудобный график. Томас, впрочем, уже о чем-то догадывается. Недостаток более правдоподобных объяснений он компенсирует регулярными расспросами о родне, мольбами отправиться в гости к тем, с кем знаком, и встретиться уже наконец с остальными.

В прежнем садике однажды задали нарисовать семейное древо. Томас, едва дыша от волнения, попросил фотографии. Пришлось сознаться, что их нет. Ни одной. Тогда мой сын нарисовал каждого члена семьи, как ему представлялось; каждого снабдил улыбкой или печальным выражением лица, а также шапкой кучерявых волос определенного цвета. Теперь «семейное древо» висит у него над кроватью.

* * *

Готовлюсь отбросить гордость и протянуть руку своим многочисленным родственникам. Прежде всего составлю список для обзвона. Достая блокнот, выдираю последнюю страницу, пишу в столбик:

Ба (уже спрашивала).

Эшли (наша двоюродная тетка, нам ровесница; мы с ней дружили, когда были маленькие).

Бобби (еще один родственник, куда менее симпатичный; сам приторговывает наркотой и снабжал ею Кейси, пока мы с Труменом его не вычислили и не пригрозили упрятать за решетку).

Ну и хватит родни. Перейдем к знакомым.

Марта Льюис (когда Кейси выпустили условно-досрочно, Марта была ее надзирателем. Сейчас у нее, наверное, новый подопечный).

Далее следуют соседи. Затем – подружки Кейси по средней школе. После них – те, с кем Кейси водилась в старших классах. Наконец, ее нынешние приятели (никаких гарантий, что они не перешли в разряд врагов).

* * *

Сидя в патрульной машине № 2885, методично обзваниваю всех по списку.

Ба трубку не берет. На автоответчик она телефон не ставит. Когда мы были маленькие, Ба не пользовалась автоответчиком из страха, что ее станут домогаться кредиторы. Сейчас это просто привычка; или, может, так у нее проявляется мизантропия. «Кому надо, тот дозвонится», – убежденно говорит Ба.

Эшли не отвечает. Оставляю голосовое сообщение.

Бобби не отвечает. Оставляю голосовое сообщение.

Ни Марта Льюис, ни Джин Хейс не отвечают. Оставляю голосовые сообщения.

Потом спохватываюсь: да ведь сейчас никто голосовые сообщения не прослушивает! Печатаю всем эсэмэски. «Давно с Кейси общались?», «Кейси пропала», «Если что-нибудь слышали о Кейси, если видели ее, пожалуйста, сообщите».

Гипнотизирую телефон.

Первой откликается Марта Льюис. «Привет, Мик. Сочувствую. Поищу по своим каналам».

Затем – Эшли. «Нет, к сожалению, я не в курсе».

Еще несколько старых приятелей пишут, что сами давно не видели Кейси. Желают мне удачи в поисках. Выражают соболезнования.

Единственный, кто не пишет и не перезванивает, – это Бобби. Снова набираю его номер. Молчание. Пишу Эшли – может, Бобби номер сменил? «Нет, не менял. Всё правильно», – отвечает Эшли.

И вдруг я вспоминаю: сегодня понедельник, двадцатое ноября. В четверг – День благодарения.

* * *

Сколько себя помню, О’Брайены (со стороны Ба) на День благодарения собираются все вместе. Одно время отмечали в доме тети Линн, бабушкиной младшей сестры. Сейчас роль хозяйки торжества взяла на себя дочь тети Линн – Эшли. Но с рождения Томаса я эти сходки не посещаю. Моя стандартная отговорка – дежурство. Об одном я умалчиваю: дежурство я прошу сама, потому что в праздничные дни больше платят.

В этот четверг я как раз свободна. Планировала провести День благодарения с Томасом вдвоем. Купить консервированные бататы, готовое картофельное пюре и курицу гриль. Посреди стола поставить свечу, рассказать сыну истинную историю этого праздника. Ту историю, которую сама я узнала от своей любимой учительницы, мисс Пауэлл, – и которая сильно отличается от привычной версии, излагаемой в учебниках.

Но появление в доме Эшли дает шансы разузнать о Кейси, а может, и приступить с расспросами к Бобби, так и не ответившему на мою эсэмэску.

Снова звоню Ба. На сей раз она отвечает.

– Здравствуй, бабушка. Это Мики. Слушай, ты пойдешь к Эшли на День благодарения?

– Не пойду. Работаю.

– А вообще у нее гости будут?

– Линн говорит, что будут. А тебе на что?

– Просто интересуюсь.

– Еще скажи, что сама идешь.

– Может быть. Пока не знаю.

Ба выдерживает паузу, затем бросает:

– Очуметь.

– Представляешь, в кои-то веки дежурство на праздник не вклепили, – продолжаю я. – Ты только Эшли пока не говори ничего. Вдруг не получится.

Я готова попрощаться, но задаю последний вопрос:

– Кейси не объявлялась?

– Сколько можно? – сердится Ба. – Ты ж знаешь – я с ней не контакту. А тебе она на что сдалась?

– Я так, просто...

* * *

Остаток дня проходит в бесплодных поисках. Катаюсь по району, высматриваю тех, кого можно расспросить о Кейси. Судорожно проверяю входящие эсэмэс-сообщения. Успеваю выехать всего по нескольким вызовам, причем выбираю случаи попроще.

Вечером Томас спрашивает:

– Мама, что-то случилось, да?

Язык чешется сказать: все паршиво, милый, ты – единственная отдушина. Единственная моя радость. Сам факт твоего существования, твое внимательное личико, разум, что растет в твоей головке, каждое новое слово, каждый новый речевой оборот, пополняющий твой словарь, я берегу как золотой запас, который обеспечит твое будущее. Главное, что у меня есть ты.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

«Филадельфия иглз», т. е. «Филадельфийские орлы» – название профессионального клуба по американскому футболу, выступающего в Национальной футбольной лиге. – Здесь и далее прим. пер.

2

Обыгрывается слово «lean». На сленге наркоманов оно означает напиток – дешевый заменитель тяжелых наркотиков, который приготавливают из смеси сиропа от кашля с кодеином, газировки «Спрайт» и других составляющих. Прямое значение слова «lean» – подпирать, поддерживать, клониться, прислоняться.

3

Брикхаус (англ. brickhouse) – на сленге означает «девушка с шикарной фигурой».

4

«Наркан» – медицинский препарат, применяется для вывода больных из общей операционной анестезии и наркотической комы, а также для облегчения состояния при отравлении этанолом.

5

Около 173 см.

6

Название сети дешевых супермаркетов.

7

Престижный центральный район Филадельфии.

8

Английское слово «nutcracker» («nut» на сленге – голова, во множественном числе – тестикулы; «to crack» – ломить, давить, причинять боль) – имеет, помимо прямого значения «щипцы для колки орехов», еще и ряд сленговых значений: «удар ниже пояса»; «тесные трусы»; «самогон».

9

Пригород Филадельфии с населением около 60 000 человек.

10

55 градусов по Фаренгейту соответствуют 12,5 градуса по Цельсию.

11

«Тайленол» – американское торговое название жаропонижающего препарата, который по всему миру известен как парацетамол.

12

«Оксиконтин» – сильнодействующее обезболивающее средство для онкобольных.

13

Соответствует 32 градусам по шкале Цельсия.

Купить: https://telnovel.com/mur_liz/alaya-reka

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)